

Светлана Замлелова

Блудные дети



Светлана Замлелова
Блудные дети

Текст предоставлен издательством
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=168805
А Бог всё-таки есть...: Компания Спутник+;

Содержание

Часть первая	4
Конец ознакомительного фрагмента.	91

Светлана Замлелова

Блудные дети

...Иные, лучшие мне дороги права;

Иная, лучшая потребна мне свобода...

А. С. Пушкин (Из Пиндемонти)

Часть первая

– ...Искусство раннего Средневековья характеризуется явным упадком. На смену античности, исповедующей красоту человеческого тела, приходит христианство, призывающее к раскрытию духовных начал. Но для изобразительного искусства эти идеи оказались губительны. Изобразительное искусство Средневековья нетождественно жизни, оно непонятно и малоэстетично. Христианство уничтожило прекрасное искусство античности...

С этими словами я вступил в самостоятельную жизнь. Я заканчивал первый курс нашего «ликбеза» – так у нас называли Институт. И экзамен по истории и теории культуры был последним в летней сессии. Через два дня впервые без взрослых в компании двоюродного брата мне предстояло отправиться на целый месяц в Джубгу. Мама сама купила нам путёвку в какой-то пансионат и два билета в спальном вагоне до Туапсе.

От Джубги у меня осталось немного воспоминаний. Помню наш двухкомнатный номер-люкс с прыщавыми, окрашенными голубой красочкой стенами. Помню наш самовар, прерогативу люкса, который подтекал так безбожно, что ко времени закипания воды в нём оставалось на полчашки. Помню, как мы пытались заклеить его жвачкой. Жвачка плавилась, капала вниз, на лету застывала и повисала, напоминая собой нечто совершенно неуместное к чаепитию. Помню, как мы покупали на тамошнем рынке персики и фундук. Сочные персики растекались по нашим подбородкам густыми оранжевыми ручейками, а фундук мы приспособились колоть булыжником с пляжа. Одна боковина камня была выпуклой и удобно помещалась в ладони. Другая – совершенно плоской. Получалось эдакое первобытное орудие, разбивающее разом по десяти орехов.

Пансионат наш располагал огромной территорией с галечным пляжем, глухим, одичавшим парком, площадкой под дискотеку. Был даже свой, затерявшийся в парке, кинотеатр, был и прокат на пляже.

Днём мы исследовали селение, лазали по горам или уплывали на катамаране подальше от берега и купались одни в прозрачной зелёной воде. Прежде я никогда не купался в море так далеко от берега. Странное чувство – я запомнил его. Я ощущал себя частью стихии. Как будто солнце, небо, горы, вода и мы с братом – всё это одно и нерасторжимо. Я несколько не боялся воды и бездны под собой, я знал, что

море не отринет меня и не сделает мне зла. Я кувыркался в изумрудной воде, смеялся, сам не зная чему, и думал, что вряд ли кто-нибудь догадывается, каким счастливым можно быть в открытом море.

А вечерами мы слонялись по территории, глазели на девочек, валяли дурака на дискотеке, пересмотрели по два раза все картины в местном синематографе. Вход на территорию был свободным, но мы скоро вычислили всех постояльцев пансионата. И, даже встречая на рынке, не сомневались, что вот этот огненно-рыжий парень с безупречной улыбкой, да-да, тот самый, что появляется на публике исключительно в красных спортивных трусах; или вон та юная девица, жадно разглядывающая всех своих сверстников и сверстниц, точно мечтая о друзьях, ведь она здесь в компании молодой дамы с напряжённо-серьёзным лицом и двух мальчишек пяти и семи лет, судя по всему, детей этой дамы; или вон те пожилые подружки, суетсяящиеся как на пожаре, чудно, ей-богу, приехали отдохнуть, а мечутся из угла в угол, как ошпаренные – встречая их в любом закоулке Джубги, мы не сомневались, что всё это «наши».

Вели мы себя, как и подобает вести себя москвичам в провинции: нарочито громко и протяжно акали, задирали носы и изо всех сил изображали помещиков, вызванных, к неудовольствию своему, из столицы в имение и вынужденных, по настоянию управляющего, вникать в дела. Разумеется, если бы не продажа за долги, никто бы не выманил нас из горо-

да! Но в действительности, оба мы были счастливы и решительно всем довольны. Даже однообразие отдыха не утомляло нас – ведь обоим нам было тогда по девятнадцать лет! А порой даже этого бывает достаточно, чтобы ощущать себя счастливым и довольным. Мы же, вдобавок ко всему, были студентами московских ВУЗов, успешно окончившими первый курс. Впервые мы оказались без присмотра вдали от дома. Мы только начинали жить, и начало казалось нам приятным. Карманы наши были полны денег, сердца – радужных надежд. Что ожидало нас впереди, мы не знали. Но не сомневались, что, верно, что-нибудь очень хорошее.

Спросят, зачем я пишу всё это, ради чего я вообще взялся описывать? Не знаю. Но уж, конечно, не ради писательской славы. Хотя в это трудно поверить, потому что теперь никто не верит в бескорыстие.

Зачем же тогда? Может быть, что называется, «в назидание потомству». Из желания удержать хоть кого-нибудь от ненужных шагов. Конечно, я не так наивен, чтобы всерьёз верить, что рассказ мой послужит кому-то предостережением. И всё-таки я надеюсь.

Забегая вперёд, скажу: я всегда знал, что всё это мерзко. Но почему-то изо всех сил пытался переубедить себя. «Нет, не мерзко, – говорил я себе, – а прогрессивно и современно. И если я не готов принять этого, я смешон, неразвит и закомплексован. А хочу ли я быть смешным, неразвитым и закомплексованным? Нет, не хочу. Что же остаётся? Принять

то, что прогрессивно и современно».

Потянувшись, как козёл за морковкой, за какими-то призраками, я чуть было не оказался в яме. Всё то, что я пережил и о чём намереваюсь рассказать, вся моя тогдашняя жизнь кажется мне сегодня абсурдом, какой-то злой шуткой. «Дьяволов водевиль» – вот что это было такое.

Выбор мною профессии и учебного заведения, где бы я мог получить эту профессию, происходил мучительно и долго. Я мечтал отдаться какому-нибудь творчеству. Родителей же моих, как это часто случается, подобная перспектива приводила в ужас. Словосочетание «творческая профессия» являлось для них синонимом неустроенности, безработицы и в то же время личного моего разгильдяйства с вытекающими отсюда пьянством и всякого рода невоздержаниями. Папа даже процитировал Пушкина, назвав меня наперёд «гулякой праздным».

Я окончил художественную школу, но сомневался, что живопись это моё призвание. Да и родители не хотели, чтобы я дальше учился на художника.

– Вот получи настоящую профессию, а там рисуй. Если захочешь, – убеждали они меня.

Я был томим талантом, но не был уверен, каким именно. Родители же, оба экономисты, назойливо советовали мне от-

правляться по их стопам. Меня же одно только упоминание о карьере бухгалтера повергало в уныние. Никому ведь и в голову не приходит учиться считать собственные деньги. А посвящать свою жизнь пересчитыванию чужих, да ещё и дрожать над каждой цифрой – по-моему, трудно себе представить что-либо более бесславное и бесполезное. Кто-то сказал, что всё зло в этом мире от экономистов, и я считаю эту мысль безупречно верной.

Я всегда совершенно искренно жалел своих родителей и недоумевал: как это можно по доброй воле и не от безысходности идти в бухгалтеры? Например, у мамы превосходный голос. Возможно, она не стала бы Анастасией Вяльцевой, но ведь и Адамом Смитом она тоже не стала. И отчего это так бывает? Отчего карьеру незадачливого экономиста люди охотно предпочитают карьере пусть даже незадачливого певца, артиста или художника? Отчего, если уж петь, то непременно в Большом театре, а вот на счётах щёлкать не стыдно в любой подворотне?

Но родители в ответ на мои рассуждения только посмеивались. Правда, в конце концов, все мы сошлись на том, что необходимо найти компромисс. Во внимание решено было принимать мои личностные особенности, предполагаемое жалованье, характерное для избранной деятельности окружение, а также спрос на профессию в обществе. Наконец компромисс был найден. Мы согласились, что совмещать творчество и относительную стабильность можно в од-

ном единственном случае: посвятив себя науке. И поскольку ум мой родители отнесли к разряду гуманитарных, выбор ограничивался довольно скромным списком дисциплин. Папа переписал в столбец все известные ему гуманитарные науки и предложил мне следующий перечень: первым номером шла философия, напротив которой папа сделал пометку: «мать всех наук». Затем, уже без пометок, следовали история, филология, искусствознание, психология, культурология. Первой со списком ознакомилась мама. Прочитав один раз, она задумалась, строго оглядела нас с папой и принялась читать во второй. После чего потребовала ручку и приписала от себя: этнография, юриспруденция, религиоведение. Об экономике как будто забыли.

«Философия – “мать всех наук”, история, филология, искусствознание, психология, культурология, этнография, юриспруденция, религиоведение» – до сих пор я помню самый порядок, в котором были переписаны дисциплины. На том этапе я думал недолго, просто ткнул пальцем в «искусствознание», потому что именно искусствознание показалось мне наиболее сопричастной с творчеством наукой.

– Значит, будешь искусствоведем, – грустно уточнил папа, точно замуж меня отдавал.

Я молчал – его тоска была мне непонятна и неприятна.

– Что ж, – вздохнул папа, – хорошая профессия...

Добившись от меня определённости, родители успокоились. Но ненадолго. С самых тех пор за мной закрепилась

слава будущего искусствоведа, и каждый мой шаг родители, к неудовольствию моему, повадились увязывать с выбором профессии. Отправлялся ли я на прогулку, читал ли книгу, выбирал ли рубашку к случаю или глодал куриную ногу – родители, не то шутя, не то всерьёз, уверяли, будто я всё делаю как настоящий «будущий искусствовед». Очевидно, им очень хотелось видеть меня студентом. Но из-за чрезмерно горячего желания они оба однажды насмерть перепугались, осознав как-то вдруг, что ведь студентом-то я могу и не стать. Не знаю, как это у них вышло, но в один прекрасный момент они обрушились на меня и уж больше не оставляли в покое, решив, по всей видимости, воздействовать внушением.

– Ты не поступишь в институт! – срывающимся голосом предрекала мне мама, застав за неподходящим, с её точки зрения, занятием.

– Был серым как штаны пожарника, таким и останешься, – поддакивал папа. И неизменно при этом добавлял:

– Кроме ПТУ, дружок, тебе нич-чего не светит... А туда же – искусствовед!..

С их слов выходило, что не поступи только я в ВУЗ сразу же после школы – а я непременно должен был не поступить, несмотря на «успехи в учёбе и примерное поведение», – высшего образования мне не видать. А равно и мало-мальски приличной будущности.

– Потом в армию тебя заберут, потом женишься, потом

дети пойдут – зарабатывать нужно будет... И всё!.. – объяснял мне папа. И лицо его выражало отчаяние.

Отчаяние передалось и мне, так что я даже решил для себя, что если не поступлю с трёх попыток, то повешусь или вроде того. А когда мы приехали отыскивать моё имя в списках зачисленных, позабыли не то, что запереть двери машины, но и зажигание папа оставил включённым. Так и простояла наша «Волга» незапертой и тарахтящей, пока мы искали свою фамилию в списках...

Чувства мои по поводу зачисления оказались совершенно схожими с чувствами советских школьников, принимаемых в пионеры. Ей-богу, если бы у меня был красный галстук или любой другой атрибут, выдававший мою принадлежность к студенческому братству – шпага, например, – я бы не снимал его даже ночью!

Я был зачислен в студенты в августе 91-го года. Это было время, когда по улицам Москвы ползали танки, и вся страна жила в предвкушении чего-то необычайного. А многие так даже и верили, что всё то необычайное, что грядёт и вот-вот разразится, непременно будет содействовать ко всеобщему благу.

Ректор ВУЗа, студентом которого я стал в то лето, был известен широкой публике своими либеральными и демокра-

тическими убеждениями. Это был шестидесятник и западник, то есть большой поклонник всего «как в Европе». О нём говорили, что он, как и прочие шестидесятники, всегда оставался верным «истинному марксизму», не испорченному болезненными сталинскими фантазиями, а преподанному России самим Лениным. И что будто бы за это власти неоднократно порывались отправить его в жёлтый дом, но почему-то так и не отправили. Между прочим, речь, произнесённая ректором на дне открытых дверей, произвела на меня сильнейшее впечатление и, вероятнее всего, легендарная личность ректора и та самая произнесённая им речь создали необходимый перевес при выборе мною учебного заведения. Среди прочего, много было сказано о свободе, о том, что «страна наша встала на путь перемен и демократических реформ» (напомню, дело происходило ещё в СССР); упоминалось о гласности и плюрализме; особо подчёркивалось, что мы, то есть тогдашние абитуриенты, являемся надеждой общества и что именно нам предстоит «стать первым свободным поколением обновлённого государства». В этом смысле Институт был провозглашён «островком свободы», где максимально «предполагается реализовывать на практике принципы демократии, свободы и плюрализма». Овация стала наградой красноречивому ректору. Несколько девичьих голосов в разных углах аудитории пропищали восторженное «Браво!»

Повторюсь, что ректор наш в то время был человеком

чрезвычайной известности и популярности. Он был депутатом Верховного Совета и одновременно с этим слыл диссидентом. Известность же его связывалась с целым рядом смелых критических выступлений в адрес советского правительства, приводивших в восторженный трепет всю страну. Сегодня я не знаю, чего хотели все эти люди, называвшие себя красивым словом «диссиденты». «Мы – диссиденты, изгои», – с гордостью говорили они. Но, кажется, никто из них не предлагал возродить святыни или, например, поднять деревню. Что, собственно, они предлагали для страны, куда звали – право, не ясно. Но тогда это было не важно. Главное, они критиковали советскую власть, и это в них подкупало.

Институт же наш оказался настоящим пристанищем для диссидентствующей публики. Проректоры все сплошь тоже слыли диссидентами, а равно и несколько профессоров. Поговаривали, что проректор по учебной части прошёл сталинские лагеря и на правом предплечье носит клеймо, оставленное ему мучителями. Слух этот подхватили с каким-то даже аппетитом и с наслаждением затем перекладывали из уст в уста. Хотя почему-то никого не смущал возраст проректора – судя по его летам, в застенках он мог оказаться, будучи грудным младенцем. Впрочем, в те страшные годы чего только не случалось.

Вследствие всех этих свободолобивых устремлений нашего начальства, Институт со временем действительно превратился в «островок свободы» и плюрализма. Какой-то

негласный дух терпимости ко всему, что только ни на есть, привлекал под его своды самую разношёрстную публику. Феминистки с нечёсаными волосами, драными подмышками и в каких-то подвязанных опорках; странные иноземцы – не студенты и не преподаватели, – расточавшие кругом себя холодные улыбки; лысые проповедники в чёрных френчах и золотых очках; сектанты с безумными глазами, хватавшие за рукава и вкрадчиво, но неотвязно предлагавшие рассказать о Библии – всё это немедленно хлынуло к нам, точно потоки воды из открывшихся вдруг шлюзов, всё это норовило читать лекции.

Впрочем, семена свободы, демократии и плюрализма чуть было не погибли, не успев дать всходов.

В то самое время, когда я отыскивал свою фамилию в списках зачисленных на первый курс, в кулуарах Института стоял несмолкаемый шёпот. Дело в том, что наш ректор, диссидент и либерал, оставив все свои административные начинания и научные изыскания, вдруг вспомнил о каких-то срочных и неоконченных делах, ожидавших будто бы его в швейцарском городе Цюрихе. И едва только в Москве появились танки, как он срочно выехал в Цюрих оканчивать эти свои дела. Невинное, казалось бы, обстоятельство совершенно взбудоражило умы. Замелькали какие-то нехорошие улыбочки. Шёпот и многозначительные взгляды сделались обычным делом. Появилась даже некоторая озабоченность на лицах – а ну, как цюрихские дела не удастся закончить в

срок? Но вопреки опасениям и дурным предчувствиям всё завершилось как нельзя лучше. Через несколько дней наш ректор вернулся в Москву и, как ни в чём ни бывало, заступил на службу. При этом весь вид его свидетельствовал о каком-то триумфе, точно это он, а не кто другой способствовал из Швейцарии разрешению всей тогдашней русской путаницы.

Что до меня, скажу откровенно: в то время я был бесконечно далёк и от политики, и от какого бы то ни было понимания действительности. Происходившее вокруг интересовало меня не более чем театральное действие. Я был большим охотником до всякого рода недоразумений и радовался, стоило завариться очередной политической каше. Разинув рот, я следил за развитием, ждал развязки и почти зевал, когда события переставали быть захватывающими. То, что развернулось на сцене Москвы в октябре 93-го года, не пробудило во мне ничего, кроме радостного возбуждения и любопытства. Это новое недоразумение повлекло меня и шестерых моих товарищей на Красную Пресню. В Москве тогда стреляли, то есть буквально где-то грохотали орудия. И уж, конечно, мы не могли остаться в стороне и пропустить такое зрелище. Один из нас, Виталик Экземпляров, 4 октября был новорожденным. В тот год ему исполнялось 20 лет. По этому поводу он намеревался собрать нас у себя в ближайшую субботу. А пока решено было отметить его рождение «на баррикадах».

Мы двигались по опустевшей Тверской от центра в сторону Садового кольца. Где-то слева от нас грохотала настоящая канонада. Да, да: мы шли под грохот канонады! И вот представьте: Тверская улица, где вечерами от множества огней светлей, чем днём; где, что ни дверь, то магазин; где каждодневно захлёбывается стальной поток. Вдруг – ни одной машины, а всех прохожих можно сосчитать по пальцам. И канонада!

Есть чувство, я думаю, оно знакомо всем, когда реальность перестаёт реальной быть, когда вдруг кажется, что снишься сам себе и всё, что происходит суть обман, иллюзия и умопомрачение.

Я хорошо помню тот день. Было очень тепло и солнечно, что совершенно необычно для этого времени года. Как распознать запоздалую осень среди камней большого города, где нет ни птиц, ни листьев под ногами, ни тёмных, увядающих цветов? Но в городе есть солнце, по-осеннему высокое, но всё ещё тёплое солнце; есть особенная, замеченная всеми поэтами чистота и прозрачность воздуха; льдистая голубизна предзакатного неба, тоже ставшего высоким и прозрачным; и первая, чуть осязаемая прохлада, обнаруживающая себя по вечерам паром дыхания.

Мы радовались последним тёплым лучам, ощущение нереальности происходящего волновало нас, мы болтали разный вздор и поминутно смеялись. Вдруг на повороте в Козицкий переулок Виталик остановился.

– Знаете что, ребят, – неуверенно, точно извиняясь перед нами, сказал он, – поеду-ка я домой...

– Да ты что?! – окружили мы его. Нам казалось, что веселье только начинается.

– А как же твой день рождения?

– Чего дома делать?

– Брось, пойдём вместе! Мы же хотели на баррикадах...

– Мне что-то не хочется баррикад, – сказал он, – не хочу умирать в день рождения...

Его слова подействовали на нас. Все мы приумолкли и перестали хихикать.

Вдруг кто-то сказал:

– Платон умер в день своего рождения.

Этого оказалось достаточно, чтобы снова все смеялись. Ведь в то время мы были как щенки, которым ничего не нужно, как только резвиться.

– Да я, в принципе, не против... – улыбнулся Виталик, – только, знаете ли, хотелось бы оттянуть этот миг...

Мы не возражали. Проводив Виталика до ближайшей станции метро и заверив на прощание, что он утратил последний шанс стать хоть сколько-нибудь похожим на Платона, мы, уже вшестером, двинулись дальше. Но когда мы добрались до Триумфальной площади, в наших до сих пор стройных рядах возникло некоторое смятение. Первоначальный план наш заключался в том, чтобы, дойдя до Триумфальной площади, двинуться вниз по Садовому. А там,

по Новому Арбату или с тылу по Дружинниковской, попасть на площадь Свободной России – ей-богу, не помню, как она тогда называлась – другими словами, в эпицентр революционных событий. Кстати уж, замечу, что ничего глупее названий, образованных от слов «свобода» или «независимость» я не знаю. Когда подобные вывески появляются на площадях и улицах так называемых «бывших советских республик», надо понимать, это означает их радость по поводу наступившего освобождения от тиранки-России. В России те же самые таблички выражают, очевидно, вздох облегчения по случаю долгожданного избавления от толпы дармоедов. Одновременно и с той, и с другой стороны раздаются ностальгические голоса – поминается с нежной грустью общее прошлое. И здесь тайна. Как могут сочетаться эта увековеченная почти что в камне радость и повсеместная грусть?

Почему я так подробно останавливаюсь на этом? Да потому что у меня идиосинкрзия к словам «свобода» и «независимость». В своё время я больно споткнулся об эти камушки и, забегая вперёд, объявляю, что именно об этом и намерен рассказать в своей повести. Я был одержим идеей стать свободным, я решил достичь того состояния, пребывая в котором любой человек мог бы сказать о себе: «Я абсолютно свободен». Но когда я в компании таких же дурачков как и сам продвигался по Тверской, останавливаясь на каждом перекрёстке и принимаясь спорить, как же нам всё-таки лучше добраться до Дома Правительства Российской Феде-

рации, ничего подобного в моей голове ещё не было.

Повторяю, мы разделились. Трое из нас предлагали подбраться как можно ближе к месту событий на метро. Суть этого предложения сводилась исключительно к экономии времени. Но другая группа, в которую входил я, настаивала, что, продвигаясь пешком, можно увидеть много чего интересного, к тому же нечего толковать о времени, когда готовишься стать свидетелем и участником исторических событий. В конце концов, решено было, что каждая группа отправится к месту событий своим маршрутом, а после поделится впечатлениями с другой группой. Таким образом, у каждого из нас впечатлений будет вдвое больше.

Со мной в группе оказались Макс, мой однокурсник, длинный, худой парень в круглых очках, внешне не очень похожий на русского, скорее на англичанина; и Майка, милая зеленоглазая девочка с факультета лингвистики. Втроем мы вышли на Триумфальную площадь и повернули на Большую Садовую. Мы никак не ожидали, что вольёмся в такой могучий поток. По Садовой в сторону Пресни продвигалась огромная хаотическая толпа: мужчины, женщины, юнцы вроде нас, седые старцы, старухи с клюками – пожалуй, только детей не было в этой толпе. И на всех лицах, точно маска, застыло одно и то же выражение – выражение, какое бывает у зрителей, ожидающих в нетерпении начала спектакля. «Вот сейчас, сейчас начнётся! – светилось на этих лицах. – Вот только подождите немного и вы увидите...»

– Черёмуха! – вдруг пронеслось над толпой.

Эта «черёмуха» стала чем-то вроде «занавес!» в старинном самодеятельном театре. Сей же час что-то переменялось. Со всех сторон слышались истошные вопли, толпа заколыхалась, и мы увидели, что со стороны Пресни на нас, точно стадо разъярённых бизонов, несётся другая такая же толпа. И мне вдруг стало совершенно очевидно, что эта человеческая лавина поглотит нас так же неминуемо и беспощадно, как поглотила бы лавина воды, снега или взбешённых животных. Очевидно, не одному мне пришла в голову эта мысль, потому что в тот же миг вся наша огромная компания развернулась к Пресне спиной и, визжа на все голоса, понеслась в противоположную сторону. Непрекращавшиеся у нас над головами выстрелы, стали отчего-то чаще, дым и противный едкий запах понеслись за нами вдогонку. Но ни тени неудовольствия, ниже возмущения не промелькнуло ни на одном лице. Азарт, страх вперемешку с удовольствием, какое-то дикое, пьяное веселье – казалось, дело происходит в луна-парке.

Заскочив в садик в торце какого-то здания, мы остановились, чтобы отдышаться и передохнуть. По лицу у меня ручьями текли слёзы, я не мог разогнуться от смеха – мне казалось, что живот мой стянули двумя железными скобами. То же самое творилось с Максом и Майкой. Да и многие вокруг смеялись почти истерически. Чему мы радовались? Тому ли, что где-то расстреливали законодательное собрание?

Или тому, что гибли под пулями такие же как мы легкомысленные люди? Конечно, нет. Просто у всех у нас был свой интерес – мы алкали зрелищ. Убегать от реальной, надвигающейся опасности под хлопки выстрелов и при этом не сомневаться, что никакой такой опасности-то и нет – ну не будут же, в самом деле, нас расстреливать – да власть же подарок нам сделала! Никакие теле-шоу ни в какое сравнение не идут с ощущениями, которые москвичи и гости столицы совершенно бесплатно смогли получить на Большой Садовой улице, и не только, 4 октября 1993 года.

Отдышавшись и просмеявшись, мы снова высунулись на улицу. Отовсюду, изо всех подъездов и подворотен появлялись довольные люди и, как ни в чём ни бывало, снова направлялись в сторону Пресни. Колонна наша держалась правой стороны Садовой, точно ни в коем случае не желая нарушать дорожные правила. Левая сторона оставалась совершенно свободной. Этим-то обстоятельством мы и решили воспользоваться с тем, чтобы обогнать свою колонну и дальше пробираться самостоятельно. Но одна старушка в сером старомодном пальто с огромным, похожим на два лопуха воротником и в синей, из сложенного лентой платка, повязке на лбу разъяснила нам, что на левой стороне опасно из-за снайперов, засевших где-то на крышах. Старушкины сведения подтвердили трое совершенно не связанных между собой молодых мужчин. От них же мы узнали, что перемещаться в одиночку опасно, и что лучше всего держаться толпы.

Снайперы нас убедили, и мы решили продвигаться ускоренным шагом под прикрытием колонны.

Но чем дальше мы продвигались, тем более густым и тягучим делался людской поток – людей вокруг становилось всё больше, скорость продвижения снижалась. Наконец все остановились.

Впереди нас двигалась такая же колонна. Между нашей колонной и той другой постоянно сохранялось некоторое расстояние, может быть, метров в пятьсот. Видимо, наш авангард равнялся на их арьергард. Вот и сейчас, стоило им остановиться, остановились и мы. Но в стане нашем остановка была встречена неудовольствием.

– Чего стоим-то? – послышались сначала робкие, а там и всё более смелые голоса.

– Да подождите! – попытался урезонить кто-то нетерпиц и торопыг. – Говорят же: снайперы...

– Да что снайперы? То всё шли, а то снайперов испугались!..

– Снайперы – они всегда снайперы...

Но тут первая колонна, развернувшись вдруг кругом, снова понеслась как селевой поток на нас. Всё повторялось. С визгами, воплями, с диким каким-то смехом наши, не разбирая дороги, ринулись назад и вскоре рассеялись по подворотням.

Когда мы, сломя головы, неслись в свой садик: Макс первый, а мы с Майкой, сцепившись за руки, следом, – впереди

чуть справа от нас упала, споткнувшись, старушка, рассказывавшая нам о снайперах. Упасть в бегущей толпе, это, знаете ли, сильное ощущение. Мы трое, не сговариваясь, бросились к ней. Но уже какие-то молодчики на бегу подхватили её, визжавшую, под руки и понесли. Да так, что бедняжка не доставала до земли ногами. Воротник её пальто трепыхался как уши охотничьей собаки, синяя повязка сползла на глаза, и, безуспешно слясь поправить её, старушка беспомощно извивалась в руках своих же спасителей и только пуще визжала. Всё это было до того утомительно, что, оказавшись в безопасном месте, Макс со смеху повалился на колени. Он уже не смеялся, он стонал, и стоны его походили на крик осла. Повторяю, мы были не оригинальны и не одиноки. Вокруг все вели себя как сумасшедшие.

Не имея ни малейшего желания утомлять своего читателя, кто бы он ни был, я не стану живописать о дальнейших наших перебежках. Тем более что все они были похожи одна на другую. Скажу только: когда уже в пятый раз я, запыхавшись, примчался в наш садик и вдруг понял, что незаметно для себя потерял в толпе и Макса, и Майку, за моей спиной раздался взрыв. В криках, которыми он был встречен, я не услышал больше задорных ноток, зато послышались ругательства – до сих пор как-то обходилось без них. Я обернул-

ся на взрыв. Со стороны Садовой в наш садик, то извиваясь, то мерно покачиваясь, вползал серый многоголовый дым. Из клубов его, отплёвываясь, прокашливаясь, чихая и ругаясь, выскакивали люди. Этот аттракцион им не нравился. Потом выскочили и Майка с Максом.

– Слушай, что это было? – кричал мне Макс. Он был в восторге. – Ты видел? Взрыв!..

Но я не знал, что это было. Мы отбежали в сторону, в уголок, образованный посадками, и остановились, чтобы отдышаться. Дым, лизнув наши ноги, прополз мимо, куда-то вглубь садика и постепенно стал таять.

– Поехали домой, – всё ещё тяжело дыша, сказала вдруг Майка. – Я всё-таки у папы с мамой единственная дочка... Вы тоже, кажется...

Мы с Максом не заставили себя упрашивать. Во-первых, Майка была совершенно права: мы тоже были единственными детьми. Во-вторых, программа, насыщенная в начале, оказалась в дальнейшем слишком однообразной. В-третьих, все мы устали – побегай-ка! А в-четвёртых, у меня страшно разболелась голова, и головная боль стала отвлекать меня от происходящего. В общем, мы поплелись домой.

Дома за ужином я рассказывал родителям о своих подвигах и чувствовал себя героем. Родители молча, с застывшим в глазах ужасом слушали меня и изредка переглядывались. Правда, остаток вечера пришлось слушать мне, и отнюдь не хвалебные песни, но я ни о чём не жалел. Что ж, пожалуй,

навсегда мне запомнился тот вечер, когда мы втроём покидали Садовую. Солнце садилось, и сделалось по-осеннему прохладно. Небо стало льдистым, как глаза северной красавицы, улица – серой. И только верхние этажи солнце напоследок щедро мазнуло охрой. А окна вверху зарделись как стыдливые щёки, точно улице стало вдруг стыдно беснования на своей мостовой...

Я рискну разочаровать читателя, особенно после того, как наговорил про Виталика с его днём рождения и двадцатью годами. Никто из нас не погиб. Никто не был найден на поле сражения с оторванными конечностями или раскуроченной брюшиной. Никому из нас не обожгло лица, не оторвало пальцев и не выбило осколками снарядов глаз. Никто даже не был контужен или ранен. Напротив, на другой день в Институте мы обменивались впечатлениями. Товарищи наши действительно добрались до Пресни и немедленно попали в какую-то адскую перестрелку. Так что все их приключения свелись к тому, что несколько часов кряду они пролежали под грузовиком, закрывая головы руками.

– Как на фронте! – с гордостью итожили они.

Но мы только презрительно усмехались. Да разве могли идти хоть в какое-нибудь сравнение наши перебежки под пулями снайперов с лежанием под машиной?!

А ещё через несколько дней в Институте у нас созвали общее собрание. В центральной аудитории, устроенной по принципу амфитеатра, собрали завсегдаев нашего заведе-

ния, и ректор, диссидент и либерал, обратился к слушателям с речью:

– Друзья! – сказал он, и голос его дрогнул. – Все вы, конечно, знаете о недавних событиях в Москве.

Зал оживился – ещё бы, мол, не знаем.

– С чувством глубочайшего удовлетворения, – продолжал ректор, – сообщаю вам: Советы в столице распущены и уж более в своём старом, коммунистическом, обличье они не возродятся!

Зал взорвался аплодисментами.

– Да здравствует свобода! – крикнул кто-то из райка.

Счастливый наш ректор крутил головой во все стороны, кивал мелко, расточал улыбки, а дождавшись, когда наконец аплодисменты иссякнут, продолжил:

– Люди, посмевающие называть себя «защитниками Белого дома», оказались на деле бандой красно-коричневых мерзавцев, спровоцировавших в столице бойню. И президент Ельцин был вынужден применить всё, что имелось в его распоряжении, дабы подавить силу фашиствующих, экстремистских и бандитских формирований, собравшихся в Белом доме. Увы, по вине этих преступников пролилась кровь. Президент проявил максимальную жёсткость и твёрдость. Но такова была ситуация момента. Все, кому небезразличны оказались свобода, права человека, Конституция, гражданское общество – все вышли в те дни на улицы Москвы защищать завоевания демократии. Среди них было много известных

актёров, политиков, общественных деятелей. Но много было и простых людей, как, например, паренёк из Сыктывкара, которого я встретил на Красной площади. Он специально приехал защищать демократию и Бориса Николаевича Ельцина...

Тут ректор снова заулыбался, и на лице его засветилось умиление. По залу пробежал добродушный, растроганный смешок. Я тоже засмеялся.

– Худенький паренёк с большими голубыми глазами, он не мог оставаться дома, когда разгулялся русский фашизм. Как сказал один выдающийся деятель современной культуры: «Когда на свет поползла чума, обеззараживать её должны специалисты». Пусть паренёк из Сыктывкара не специалист, но он, как и многие другие россияне, вышедшие в те дни на улицы, просто не смог усидеть дома, когда нужно было защищать демократию.

– Слушай, – шепнул я Макс, – мы с тобой, оказывается, защитники демократии.

В ответ Макс вытянул лицо, отчего стал похож на лошадь, и энергично закивал.

– Как смогла, – патетически произнёс ректор, – как смогла безоружная толпа противостоять вооружённым и натасканным бандитам? Я до сих пор этого не понимаю...

Зал оживился – ну как, мол, не понять!

– К счастью, получив от своих командиров оружие, боевики из Белого дома разбрелись кто куда. Эти трусы не хо-

тели рисковать своими жизнями, а полученное оружие распродали тут же, на прилегающих улицах.

– Надо было купить, – шепнул мне Макс.

– Среди них, – продолжал ректор, – были и такие, что всю жизнь мечтали о личном оружии, они бы и чёрту присягнули, лишь бы заполучить его!

– Это про тебя, – толкнул я Макса.

Одобрение последним словам оратора зал выразил довольным смехом.

– Перед лицом беснующейся оппозиции власть обратилась за поддержкой к своему народу, и народ поддержал власть. Жители улиц, на которых разворачивались главные события, приносили участникам обороны чай и кофе. Добровольцы привозили с хлебозаводов мешки белого хлеба. «Никуда не уйдём отсюда, пока не победим!» – сказал мне тот паренёк из Сыктывкара. И я понял: демократия в России сегодня в надёжных руках. Если в августе 91-го удалось только лишь надломить преступную систему, то сейчас, в октябре 93-го, мы одержали окончательную победу!

Зал снова взорвался. Кто-то встал со своего места, продолжая аплодировать стоя. Следом поднялся ещё кто-то, потом ещё и ещё – грохочущая людская масса вдруг вздыбилась и ошетибилась.

– Господа! Господа! – воззвал ректор, вытянув перед собой руки вперёд ладонями. – Господа!

Аплодисменты постепенно стихли, все расселись по ме-

стам.

– Господа! Я предлагаю почтить память защитников российской демократии минутой молчания.

Зал, не стовариваясь, как по команде, дружно поднялся и замер.

– Ненавижу коммуняк! – услышал я у себя за спиной сдавленный женский голос и почему-то обрадовался.

Ничего я не понимал тогда. Я знал только, что демократия – это хорошо, а коммунизм – враньё, плохо. И радовался, что демократия победила, а «коммуняки» низложены. Мне жаль было тех погибших, о которых говорил ректор. Меня распирало от удовольствия и умиления, вызванных ощущением единства с каждым, кто был тогда в центральной аудитории и кто защищал где-то там демократию. Но вместе с тем, глубоко в сердце сидело ещё одно чувство, которое неприятно щекотало меня.

Это неприятное чувство потом не раз возвращалось ко мне. Заключалось оно в том, что я всегда безотчётно и безошибочно различал фальшь свою и чужую. Это чувство мучило меня: в глубине души я понимал, что довериться ему значило бы остаться в одиночестве. Ведь я немедленно оказался бы в оппозиции ко всему, что окружало меня. А я не хотел быть один.

Когда ректор наш заговорил о «худеньком пареньке с голубыми глазами», притащившимся будто бы из Сыктывкара в Москву «защищать демократию», я умилился вместе со

всеми. Именно потому, что хотел быть вместе со всеми. Но, умилившись, тут же поморщился и от фальшивого пафоса рассказа, и от фальшивого своего умиления.

Уже гораздо позже я узнал, что же на самом деле произошло тогда на площади Свободной России. Узнал я и о раненной в ногу девочке, моей сверстнице, которую снайпер добил выстрелом в шею. Узнал я и о том, что внутренние стены Белого дома были сплошь забрызганы мозгами. Узнал, что изуродованные тела осаждённых увозили потом на грузовиках в неизвестном направлении. Узнал и о том, что разгромом Белого дома закончился ещё один период в жизни страны. Вскоре после тех событий, которые так развлекли меня и моих товарищей, в стране была запущена пресловутая приватизационная программа.

Вот уж исписал почти целую тетрадь, а только сообразил, что ещё не представился. Хотел было задним числом разместить в тексте свой имярек, но, не найдя подходящего эпизода и не имея ни малейшего желания переписывать всё с самого начала, решил представиться немедленно. Зовут меня Иннокентий Феотихтов. Фамилия моя, согласен, несколько странная. По правде сказать, я не знаю, что она значит. Но да мало ли на Руси странных фамилий. Это ещё Гоголь заме-

тил. Мне рассказывали об одном человеке, фамилия которого была ни много – ни мало Шпрехензидейч. Называя себя, он каждый раз, точно оправдываясь, прибавлял: «Вот такая вот странная, в некотором роде даже немецкая фамилия»...

Теперь же, исправив свою ошибку и представившись, я со спокойной душой могу вернуться к своему рассказу.

Наверное, именно в то самое время, то есть когда я был уже третьекурсником, зародилась во мне моя теория. Очень скоро эта теория вызрела окончательно, определившись с целями и средствами. Произошло это под влиянием одного общества, в которое я попал совершенно случайно. Но об этом позже...

Сразу предупреждаю: не надо путать меня с небезызвестными литературными персонажами. Я вовсе не собирался убивать старушек и пускать их деньги на общее благо, тем более что мне не было никакого дела до общего блага. Я не собирался рядиться Наполеоном или Ротшильдом, уединяться и млеть втайне от сознания своего могущества. Нет, я уже говорил об этом и повторяю: я не был одержим идеей, я хотел просто жить и быть свободным.

Помню, на занятиях по английскому языку нас как-то спросили, где бы, в каком уголке земного шара каждый из нас хотел бы поселиться. И вот первой вызвалась отвечать наша отличница.

Наверное, в каждом студенческом коллективе встречаются такие чудачки, что прочитывают и выучивают наизусть

все учебники, забывают на время сессии про сон, а перед каждым экзаменом пытаются всех заверить, что ничтошеньки не знают. Заканчивают учёбу они, как правило, с красными дипломами, первыми среди подружек выходят замуж, первыми рожают детей и отдаются затем целиком домашнему хозяйству, благополучно забывая всё то, чему так тщательно выучивались.

– I would like to live in the USA, – объявила наша пятёрочница, – I love this wonderful country because of the freedom it bestows upon the people. Every person who comes to the USA can feel this great freedom just landing American soil. Even the air of America smells freedom. I love this free country, I love its free people, the Unated States is my favorite place on the Earth... [*Я хотела бы жить в США. Я люблю эту прекрасную страну, потому что она одаривает людей свободой. Каждый, кто прибывает в США чувствует эту великую свободу, лишь только сойдя на Американскую землю. Даже воздух в Америке пахнет свободой. Я люблю эту свободную страну, я люблю её свободных людей, Соединённые Штаты моё любимое место на Земле... (англ.)*]

Видели бы вы, как эта душка объяснялась в любви Американским Штатам! Ведь она разве что не плакала – до того сама себя растрогала.

Да и было от чего сбрендить. Наступало довольно странное время. Общество наше в очередной раз забилося в припадке какого-то истерического самобичевания, усмотрев в

традиционных своих укладе и взглядах недопустимую отсталость и постыдное ретроградство. И даже всю родную историю заподозрили вдруг в оскорбительном для себя надувательстве. Одним словом, постановили снова перетряхнуть отеческие гробы и решительно *всё* подвергнуть ревизии. С этой целью и привезли к нам из заморских стран экстравагантные учения, пощупав и примерив которые, общество наше вдруг всколыхнулось в горячем порыве. *Коммунизм или либерализм, или смерть!* Вот такие примерно лозунги будоражили тогда умы. Во что бы то ни стало решено было доказать всему миру собственную восприимчивость к американской демократии. Правда, никто толком не знал, что это такое и почему нужно кому-то что-то доказывать. Но, прельстившись высокими заработными платами, обилием и доступностью товаров народного потребления, общество наше, как какое-нибудь стадо, понеслось вдруг галопом и, что закономерно, сорвалось в пропасть. Но это потом. А пока все только и делали, что говорили о свободе. Стоило включить телевизор или развернуть газету, как вас немедленно обволакивал флёр какой-то надрывной, припадочной радости по поводу наступившей будто бы свободы. Честно сказать, сначала я не понимал, что всё это значит. Я рос в самой обычной советской семье и понятия не имел о том, что несвободен. В нашей жизни хватало чудачеств – ну да где же их нет? Слышал я, что в одном из американских штатов закон запрещает ходить по улицам с лопатой. Ну и чем же, спрашиваю я

вас, человек, не имеющий права ходить с лопатой, свободнее человека, не имеющего права спекулировать валютой? В любом нормальном обществе люди подчиняются законам этого общества. А законы, исходя из традиций и чаяний того или другого народа, могут сильно различаться.

Одна из современных писательниц возмущалась унижениями, какие довелось испытать ей в советское время, добиваясь разрешения на выезд за границу. Будто бы противные тётки с причёсками типа «вшивый домик» задавали ей самые глупые, самые оскорбительные вопросы. Сегодня нашей писательнице приходится частенько бывать в США – сбылась мечта. И вот мне интересно, неужели отпечатки пальцев в американском посольстве менее унижительны, чем все возможные бестактные вопросы советских комиссий? Эти комиссии опасались, как бы отъезжающие не опозорили державу. «Но разве *Я* могу опозорить?» – спрашивал себя каждый и обижался. А может быть, просто очень хотелось прикоснуться к тому миру вещей, что начинался за советской границей, и потому мешавшие тётки с «вшивыми домиками» не вызывали ничего кроме раздражения? Другое дело – отпечатки пальцев. Они нужны американским спецслужбам, чтобы лучше охранять права человека! Или что там ещё... Святое дело!

Но постепенно я не то, чтобы понял, а скорее почувствовал, что любые запреты, если и не отменены разом для всех, то могут быть отменены каждым для себя. То есть каждый

человек отныне может делать ровным счётом всё, что ему хочется, и ничего ему за это не будет. Лёгкая, весёлая жизнь, когда никому ничего не должен, когда живёшь ради нехитрого удовольствия – вот мечта. Разумеется, если речь не идёт о преступлении. Законы, конечно, никто и не отменял, но как-то негласно отменили вдруг совесть.

Быть свободным оказалось заманчиво. Ведь свободный человек живёт, не отягощая себя запретами. Запреты – это стереотипы инертного сознания, это несовременно. И данные науки говорят совсем о другом. Наука доказала, что человек состоит из потребностей, которые приходится удовлетворять. Удовлетворение потребностей приносит с собой удовольствие. А удовольствие – главная составляющая жизни любого нормального человека. Запреты же отгораживают человека от удовольствия, другими словами, заставляют страдать. А зачем страдать, когда можно радоваться? На деле такая жизнь – пустота, но чтобы не произносить это страшное слово, звучащее приговором, её и называют свободой: «Живу так, потому что имею права и потому что свободен».

А теперь скажите. Что это за важнейшие удовольствия, запрещённые в СССР? Совершенно верно. Большие деньги и секс. Большие деньги дают множество удовольствий, секс – только одно. Вместе они, по-видимому, и представляют те самые кружку пива и два патрона, за которые мы так дружно и подлю отдались бледнолицым друзьям с Запада.

Но сделка состоялась. И что же мы получили? Несколь-

ко человек получили большие деньги, все остальные – секс. Но выяснилось вдруг, что и сексу рады, что и секс большое достижение. Появилось даже выражение: «заниматься любовью». Я уверен, что его не было раньше. Заниматься можно спортом, иностранным языком или музыкой, то есть методически выполнять определённые действия с целью овладения мастерством или достижения желаемого результата. Но заниматься любовью – это то же самое, что заниматься равенством или братством. Оно бы и похоже, да уж мерзко очень – некрофилией пахнет.

Воображаю, что скажут господа фрейдисты в ответ на мои излияния! Впрочем, спешу разочаровать. Мне в удел, как и многим, достался секс. А я, как и многие, сексу обрадовался. Для себя я решил, что запретом или, лучше сказать, ограничением может быть только то, что не приносит мне удовольствия. Так, например, я не находил удовольствия заниматься этим не с женщиной и на виду. Поэтому я предпочитал уединяться с женщиной...

Но обо всём по порядку.

Первым моим институтским приятелем был Макс, человек неглупый и добрый, хотя и бесполезный. Ничего не любил он в своей жизни так сильно, как, по его же собственному выражению, «тусить». Для непосвящённых поясню, что

«тусить» означает убивать особым способом время. Собственно, чтобы убить время ума или изобретательности не нужно. Достаточно просто не вставать с постели, плевать в потолок или не спускать глаз с телеэкрана. Тусить же – это совершенно иное. Тусовочное искусство заключается, прежде всего, в умении обмануть самого себя. Вам, например, кажется, что вы общаетесь. Увы! Искреннее общение в огромной компании ни у кого ещё не залаживалось. К тому же, если ваши компаньоны заняты целеустремлённым распитием крепких напитков или забиванием косяков, едва ли можно рассчитывать на приятную беседу.

Вам кажется, что вы свободны, вы просто опьянены тем, что совершаете самые невероятные, самые отчаянные и авантюрные поступки. Увы! Косяки, водка, пустословие и секс – такого сорта свобода очень скоро превращается в свою противоположность, обрушивая на ваши головы целый ушат неприятностей.

Вам кажется, что тусоваться – это клёво, что это прямо-таки неотъемлемая часть жизни современного молодого человека, что это так и надо и что, наконец, глядите вы молодцом. Увы! Глядите вы идиотом. И вовсе не оттого, что старшее поколение вас не понимает. Вы сами себя не понимаете. Чего стоит хотя бы ваш сленг, которым вы так гордитесь, и который слово в слово повторяет воровское аргю.

Да, я никогда не любил этих тусовок, по которым носило Макса. Я не видел в них смысла, мне казались они атрибути-

кой стиля жизни и не более того. К тому же, меня откровенно пугала и отталкивала посредственность и слишком уж явная обезличенность их участников. Они не рассуждали, а точно играли спектакль, руководимый невидимым режиссёром. В зависимости от статуса, они говорили одни и те же слова, выполняли одни и те же действия. Им сказали: «Свобода – это вот что...» Они усвоили и стали кричать: «Мы свободны!» Им навязали состояние, особый образ жизни, кем-то иезуитски названный словом «свобода». Купившись, они проглотили обманку и очень скоро, незаметно для самих себя, приняли навязанное им толкование свободы за своё собственное.

Однажды они обрадовались возможности иметь собственное мнение и тот же час прочно усвоили чужое; захотели быть самими собой и немедленно нацепили на себя готовую униформу.

Помню, ещё в школе все мои товарищи были заядлыми меломанами. Не слушать никакой музыки считалось у нас чем-то неприличным. Предпочтения были самыми разнообразными. При этом любители рока, в особенности тяжёлого, изо всех сил презирали любителей популярной эстрадной музыки. Поэтому, чтобы не потерять уважение товарищей, приходилось довольно тщательно избирать любимых исполнителей. Мой друг, слывший поклонником группы «А-ha», как-то признался мне, что тайно и с удовольствием слушает песенки одной отечественной певички. Признаться в этом

публично он не смел – его бы засмеяли.

Когда я понял, что мало просто слушать музыку, я решил выбрать себе любимых исполнителей, достойных уважения товарищей. Мне попались пластинки «Beatles» и «Rolling stones». Я внимательно прослушал их и решил, что это подойдёт. Основоположнички хоть и устарели немного, зато репутацию имели несокрушимую. Насмешники сами были бы осмеяны и уличены в невежестве. Так я решил заделаться поклонником «битлов» и «роллингов». Несколько песенок показались мне симпатичными, особенно после того, как я, чтобы войти в роль, прослушал их десятки раз подряд. Я стал собирать кассеты с записями, статьи, фотографии. Узнав о моём пристрастии, классная руководительница даже поручила мне провести классный час на тему «Английский музыкальный квартет „the Beatles“». И я целых сорок пять минут вещал перед своими одноклассниками о „знаменитой ливерпульской четвёрке“. Кое-кто хоть и ухмылялся со своего места, но возразить против моего утверждения, что „трудно переоценить значение творчества «Beatles», ничего не мог.

Одним словом, я занял очень выгодную позицию. Только самое интересное заключалось в том, что к музыке вообще я относился довольно спокойно. То есть мне нравились разные песни и даже, например, ария Юродивого из оперы «Борис Годунов», но я не был меломаном в настоящем смысле этого слова. Мне даром не нужны были все эти кассеты, фотографии, статьи. Мне плевать было, о чём поётся в песне

«Yellow submarine». Я совсем не хотел целыми днями слушать «любимую группу». Но я для чего-то делал вид, что меня всё это ужасно занимает и что я ни дня не могу прожить без «Yesterday». Иногда мне казалось, что и вокруг меня все также притворяются, изображая поклонников, кто «Deep Purple», кто «AC/DC», а кто ВИА «Неунывающие децибелы». Но кем-то раз и навсегда заведено: отрок обязан иметь музыкальные пристрастия. То есть вы можете интересоваться и увлекаться чем угодно, но не балдеть от какого-нибудь современного музыканта вы просто не имеете права. И когда я слушал, как мои товарищи рассказывают друг другу о какой-нибудь эдакой композиции, подражая голосом бас-гитаре или ударным, закрывая глаза, запрокидывая головы и размахивая руками, точно ударяя палочками по всем барабанам и тарелкам, мне отчего-то становилось стыдно...

Вот и теперь мне всё виделась фальшь, я не верил в их свободу, смотревшую каликой убогим. Главное, что меня всегда удивляло: у всех этих людей, называющих себя «свободными», вся свобода сводится, как правило, к самому банальному разврату. Как ещё употребить свою свободу они просто не знают, на большее они оказываются не способны. Творчество, сомнения, поиск не влекут их. Заявить свои права совокупляться как-нибудь наособицу – вот за это они готовы жизнь положить.

Всё это было не то. Всё это было мелко и не впечатляло меня. Мне хотелось чего-то великого, безграничного. Че-

го-то такого, что позволило бы мне подняться, воспарить и увидеть сверху эту шушеру, посвящающую жизнь мизерным радостям. Сам собой рисовался мне образ: взять бы посох да пойти по белу свету! Пусть всё катится, ничего не надо! Воды и хлеба кусок всегда раздобуду – не оставят люди добрые. Для ночлега постучусь в первый дом, пустят – заночую, а прогонят – отряхну прах от ног моих. И дальше отправлюсь. Я всегда видел себя на холме. У подола река распласталась, берега тут и там поросли кустарником. И вот иду я, а солнышко меня ласкает, травка ноги щекочет, птички на все голоса поют, запахи травяные да цветочные пьянят, в реке рыбка плещется, лесок в сторонке прохладой манит. А я иду себе, и ничего-то мне не нужно, ничего не боюсь я...

Но в то же самое время я, например, искренно верил, что стоит лишь перенять все западные чудачества – переженить между собой всех мужчин, раздать школьникам презервативы, признать права всех, кто только может их предъявить, – как немедленно сама собой возрастет всеобщая покупательная способность, и все мы заживём припеваючи.

В отличие от меня, Макс не любил мудрований. Это был практик, ухитряющийся урывать у жизни одни только приятности. Детство своё он провёл взаперти – родители держали его в чёрном теле. Став же студентом и получив от родителей вольную, Макс точно с цепи сорвался, решив, очевидно, что пора навёрстывать упущенное. Из скромняги и тихони он в считанные месяцы превратился в бабника и гуляку.

Стоит добавить, что в то же самое время родители его развелись, и каждый из них не замедлил обзавестись собственным семейством. И у Макса вдруг объявились отчим с мачехой. Ни с тем, ни с другой Макс, однако, делить кров не пожелал, отчего и перебрался к бабушке. Старушка жила совершенно одна в Земледельческом переулке. Против воссоединения с внуком она не возражала. И даже позволила Максиму перекроить своё жилище. Так что из однокомнатной с просторной кухней и внушительной передней, квартира вскоре сделалась двухкомнатной. Кухня, правда, оказалась проходной, а передняя превратилась в тамбур, но бабушке и самому Максиму всё очень нравилось. Старушка осталась в своей прежней комнате, Макс же устроился в новой. Сюда он перевёз диван, полки с книгами и пианино – получился уютнейший закуток. Но более всего другого Макса радовало, что в его комнату можно было попасть только из прихожей. Отгородившись от бабушки проходной поперечной кухней, Макс оказывался предоставленным самому себе и совершенно беспрепятственно мог входить в дом и выходить из дома в любое время суток и в любом сопровождении.

– Вчера на ЛСД у меня закидывались, – рассказывал он мне как-то утром, бледный и с тёмными кругами вокруг глаз. – Зря ты не пришёл... Прикинь, Гена припёрся с психфака... Пришёл бы, постебались бы над ним...

– Нет, Макс, отвали с наркотой...

– Я не про наркоту, я про Гену... К ЛСД, кстати, не при-

выкают... Хотя, знаешь, рассказывали тут ребята, один кадр после ЛСД захотел «в солнце войти»...

– И что?..

– Ну что... Рухнул с балкона, соскребали потом с асфальта...

Макс был годом меня старше. Случился же со мной на курсе он потому, что целый год провёл в академическом отпуске. Ещё на первом курсе он до беспамятства влюбился в одну англичанку, бравшую в нашем институте уроки русского. Звали англичанку Рэйчел, пожаловала она к нам из Лондона, и это, по моему всегдашнему убеждению, было единственным её достоинством, покоровшим сердце Макса. Чехов в одном из своих ранних рассказов написал, что англичане произошли от мороженой рыбы. Так вот, представьте себе мороженую рыбу с длиннющими, спутанными, бесцветными волосами и в джонленноновских очках на носу. Вот вам портрет Рэйчел. Я не знаю, как можно сойти с ума от такой женщины. А между тем, Макс бросил учёбу, бросил бабушку, наскрёб где-то денег и отправился в Англию. Хотел ли он жениться и принять подданство британской короны, а может, просто рассчитывал хорошо провести время, но через год он вернулся домой в Земледельческий переулок и зажил прежней жизнью. О причинах, побудивших его вернуться на Родину, Макс никогда не рассказывал.

– А чего там делать-то? – пожимал он только плечами и неизменно прибавлял:

– Серое всё кругом, мрачное какое-то... Холодно, сыро всегда... В домах даже простыни сырые...

Но в остальных случаях Макс, подобно многим соотечественникам, побывавшим хоть раз в Европе, предпочитал нахваливать и порядок, и чистоту, и организацию быта в Лондоне. Он охотно делился впечатлениями о своей жизни в Британии и демонстрировал всем желающим фотографии из огромной пачки. Одну увеличенную фотографию Макс даже вставил в раму и повесил у себя в комнате над дверью. Со снимка улыбался довольный Макс, стоящий на носу какой-то лодки и держащий в руках красное ведро. За спиной у Макса громоздилась неуклюжая рубка. Посудина, которую Макс называл яхтой, служила ему жилищем в Лондоне. Макс уверял, что отлично устроился тогда в рубке, где он спал, готовил пищу и принимал вечерами Рэйчел. Кстати, это именно Рэйчел подыскала ему жильё, договорившись с хозяевами ботика о помесечной плате. Она же через своих знакомых помогла Максиму устроиться на работу. Так Макс оказался мойщиком посуды в небольшом лондонском ресторанчике.

Ботик с Максом на борту был пришвартован почти под окнами Рэйчел, еженочь спускавшейся к нему для свиданий. Макс утверждал, что рубка как нельзя лучше подходила для этого дела. Потом Рэйчел возвращалась домой, и Макс оставался один. Ботик покачивался в водах Темзы, а в ненастную погоду рвался как цепная собака. Макс скучал, смотрел в иллюминатор, а иногда отправлялся бродить по Лон-

дону. К себе Рэйчел приглашала Макса только на вечеринки. Кажется, у неё был друг или вроде того, о котором Макс узнал только по приезду в Лондон. В общем, по моему мнению, Макс ожидал совсем иного приёма, а потому, охладев довольно быстро к возлюбленной, возненавидев лондонский общепит и, наконец, утомившись качаться в своём ботике, он и вспомнил о доме. Чем, кстати, несказанно удивил Рэйчел, по искреннейшему убеждению которой, жить в Лондоне, пусть даже и в лодке, несравненно лучше, чем в Москве в собственной квартире.

Но расстались они ненадолго. Рэйчел, готовившаяся стать журналисткой, в скором времени сама явилась в Москву и, недолго думая, приняла приглашение Макса поселиться в его комнате. Днём она бегала по городу, собирая материал для разоблачительного репортажа, а ночью, по старой привычке, прекрасно чувствовала себя в постели у Макса. Репортаж, который она собиралась писать, был её заданием, чем-то вроде курсовой работы. Объектом её внимания стали бездомные животные Москвы. Материала оказалось довольно, и очень скоро репортаж был готов.

Если Российскую Империю называют в западной историографии «тюрьмой народов», то Москва в репортаже Рэйчел представляла прямо-таки концентрационным лагерем собак и кошек. Из репортажа явствовало, что в Москве практикуются массовые истребления несчастных бродячих животных, из шкурок которых шьются потом знаменитые «russian

fur-coats». [*русские шубы (англ.)*] В доказательство того, что сами москвичи участвуют в зверских насилиях и за деньги сдают шкурки животных, Рэйчел прилагала фотографии. На одной из них упирающегося терьера, вцепившегося мёртвой хваткой в собственный поводок, тянул, пытаюсь сдвинуть с места, мальчик лет двенадцати. На другой – немолодая, грозного вида особа в меховом капоре держала за шкуру кошку, растопырившую лапы и раззявившую пасть. На третьей фотографии был какой-то вольер, огороженный металлической сеткой. И опершись передними лапами на эту сетку, грустно смотрел в объектив жёлтый безродный пёс.

Все фотографии были прекрасные, даже, можно сказать, высоко художественные. Но какое отношение все они имели к «russian fur-coats», мы с Максом так и не поняли, о чём и заявили Рэйчел. Но в убеждениях Рэйчел оказалась непоколебима. Мы пробовали протестовать и долго объясняли ей, что времена, когда из кошек делали белок на рабочий кредит, слава Богу, давно миновали. Рэйчел стояла на своём как скала. Со слезами в голосе она уверяла нас, что мы, возможно, и не такие, как «those people» [*те люди (англ.)*], что мы просто многого не понимаем и не догадываемся, в какой стране живём. Что ею всё проверено, что доказательств довольно и что никто никогда не убедит её в обратном.

Потом Рэйчел уехала в Англию и вскоре сообщила Макс, что репортаж её отмечен высоко и даже опубликован в какой-то студенческой газете. Потом она ещё и ещё приезжала

в Москву, каждый раз пользуясь гостеприимством и безотказностью Макса. А Макс водил её по тусовкам, представляя как «моя girl-friend». И то, что «girl-friend» Макса была родом из Великобритании, прибавляло ему весу в любой компании. Оба они – и Макс, и Рэйчел – довольно скоро научились извлекать выгоду из знакомства друг с другом.

Когда Рэйчел уезжала, Макс немедленно забывал о ней. У него было такое множество знакомых, что скучать он просто не успевал. Макс жил полной жизнью. Он решительно задавался тогда целью посетить как можно большее число молодёжных сообществ Москвы. Он не пропускал ни одного нашего институтского сборища, побывал у панков, у байкеров, у каких-то гопников в Люблино, посещал иногда окололитературную тусовку никому не известных снобов, собиравшихся где-то на Плющихе вокруг внучатой племянницы Бориса Пастернака. Потом его занесло в сборную команду теософов и последователей Гурджиева. Это было настоящее эзотерическое общество, занимавшееся поисками личных мистических откровений. Правда, Макс, я уверен, не было дела до мистических откровений. Тусовка – вот, что опять же занимало его.

– Слушай, какие там люди! – говорил он мне, брызжа восторгом.

Кстати, если быть точным, говорил он «сиповые пиплы», но я намерен сразу давать перевод, а потому хочу предупредить, что вынужденно опускаю основной колорит Максовой

лексики.

– Стэнли Кейзи, например, – восклицал Макс. – Настоящий американец. По-русски не говорит ни слова. Рассказывал вчера про типы тела. Вот ты... знаешь, кто ты?

– Ну кто?

Макс мерил меня взглядом и объявлял:

– Меркурий.

– С чего бы это? – усмехался я.

– У тебя... это... у тебя изящные конечности.

– Да-а? Я и не знал, Максим, что тебя интересуют мои конечности.

– Плевать я хотел на твои конечности. Это так... к слову. Главное, существует семь типов тела. Понял ты?

– Понял. И что с того?

– Дурак! Зная типы тела, научишься лучше разбираться в людях... Есть даже книга такая...

– Я, Макс, не знаю, к какому типу принадлежит твоё тело, но мне и без того ясно, что таскаешься ты по каким-то сомнительным сборищам, сам не знаешь, для чего...

– Дурак! – перебивал меня Макс. – Я тебе говорю: там такие люди! Марианна Гойдь, например. Балерина из Большого... начинающая. Такая красючка! Ноги, правда, коротковаты...

– Ну вот, опять конечности! Ты, Макс, помешался на конечностях.

– Дурак!.. Ещё Антон Клошаров. Вот это философ! Рас-

сказывал о связи между эндокринологией и знаниями африканских шаманов. Зачитывал вчера доклад «Железы и Провидение»... Потом к нему поехали на Академическую... Слушай, вот пьёт человек!.. А кстати, Стэнли говорил, что тусуют они в разных странах. Не слабо, да? В следующий раз едут в Италию, в Венецию... Может, и я с ними...

Но я был уверен, что ни с какими теософами в Италию Макс не поедет. Что-то подобное я уже слышал, когда Макс тусовался с панками. Тогда его кумиром был некто Фил, вместе с которым Макс собирался отправиться летом на электричках, они называли это «на собаках», в Геленджик. Филом величали Филиппа Глинозёмова, недоучившегося студента МАИ.

– У Филовых друзей козёл дома живёт, да? – рассказывал мне Макс, упиваясь собственным рассказом, – ну, то есть настоящий козёл. Они тут уехали, а козла Филу подбросили. На время. Фил купил поводок для собаки и козла на поводке выгуливает. Прикинь, идёт такой Фил по улице, ведёт козла на поводке... Фил вообще спокуха... ему всё до фени... Это панки! Его ребята говорят: «А чего нам? Мы можем сесть на Красной площади и насрать. Менты подойдут, мы их просто пошлём подальше!»... Люди просто ни от чего не зависят! Полная свобода!..

– Тоже мне – свобода! – злился я. – Насрать на Красной площади!

– А ты попробуй! – вступался Макс.

– Очень мне надо... Сам иди и сри... Что я идиот...

Наши разговоры часто оканчивались небольшими стычками. Мне всегда почему-то не нравилась эта безоглядная восторженность Макса. Даже когда Макс попал в кружок по изучению «реальной истории» и два раза в неделю на протяжении полугода опутывал меня рассказами об открывшемся ему убожестве и ничтожестве истории государства Российского, я, несмотря на весь тогдашний интерес к разоблачениям, не спешил делить его восторг.

– Слушай, какие там люди! – начинал он рассказ со своего всегдашнего восклицания. – Я теперь только понял, почему нас так не любят везде. Мы – варвары, понимаешь? Мы до сих пор ещё варвары. Доказано, что русские – народ неполноценный, грязный физически и духовно, ничтожный, да? Только разрушать мы умеем и всё. Нет, слушай, доказывается всё очень просто. Русские – бездельники и пьяницы. Даже в сказках на печи лежат, да? Лежит на печи, ждёт, когда по щучьему велению желания исполнятся. Почему не идёт работать? А? Вот!

– Что «вот»?

– В сказках закодировано очень многое, вся национальная психология, так? А из наших сказок видно, какой русский народ ничтожный.

– В этой сказке, между прочим, дело происходит зимой. Щука-то из проруби вылезла.

– Ну и что?

– Ничего... Какой крестьянин зимой работал? Вынужденное безделье...

– Не в этом дело! Россия – это страна рабов, мы – винтики в государственной машине.

– Да почему?!

– Ну уж так... Во-первых, мы не можем расстаться со своим варварством, понимаешь? Если бы мы были свободными, мы бы жили, как в Европе люди живут. А мы сидим в дерьме. Почему? Потому что мы – рабы. Надсмотрщика отняли у нас – всё, мы работать бросили. Мы не можем без кнута, понимаешь? Мы не умеем ни работать, ни копить, потому что мы варвары и рабы. Свободные люди умеют работать и сберегать заработанное, так? Потому что без этого не будешь свободным. Всё, круг замкнулся... А то, что нам сейчас читают историю – всё враньё. И про войну нам поют и про монголов... Всё враньё! Вот слушай, если бы Русь была богатой, монголы бы её оккупировали, да?.. А то они обложили её данью и успокоились. Подозрительно! А о чём это говорит? Это говорит об убожестве Руси. Даже монголы побрезговали! Ха-ха-ха!..

– Монголы, Макс, были кочевниками. Как могут кочевники оккупировать кого-то?

– Не в этом дело... А про войну нам напели?.. Численное превосходство, морозы и действительно мощный союзник – вот тебе вся победа!

Про себя я, увы, соглашался с Максом – всё, что ни гово-

рилось тогда, казалось разоблачительной правдой. И только, чтобы не потакать его восторженности, я избирал иронию своей тактикой.

– Ты, Макс, напоминаешь мне героя одного лермонтовского стихотворения.

– Да? Ну и какого же героя? Демона? Мцыри?

– Нет, Макс. Дубовый листок. Который оторвался от ветки родимой и в степь покатился каким-то там ветром гонимый.

– Дурак! – обиделся Макс. Но ненадолго. И назавтра уже снова рассказывал мне о своих знакомых.

Мечтой же Макса было затесаться в какую-нибудь богемную тусовку и сделаться непременно её членом. Макс алкал видеть себя среди известных писателей, музыкантов, политиков и прочих заметных персон. Он поговаривал о каких-то своих связях, о том, что у него есть возможность войти в достойнейшее общество и что существуют какие-то неудобовыполнимые условия, из-за которых вхождение его в это общество всё откладывается. А пока что внимание Макса было приковано к Майке, нашей общей приятельнице-лингвистке. Макс давно уже прослышал, что Майка посещает собрания некой организации со странным названием: не то «Гром и Крест», не то «Свет и Тьма» – точно не помню. Задачи организации состояли в том, чтобы по возможности

скрашивать жизнь подросткам-инвалидам. Несколько раз в неделю члены организации по очереди собирались в специально арендованном помещении. Туда же приводили и больных ребят. На этих вечерах читали вслух книги, играли во всевозможные, доступные детям игры, и даже устраивали самодеятельные спектакли. Так, по крайней мере, рассказывала нам Майка. Но Макс не верил ни одному её слову и подозревал, что Майка посещает собрания тайного общества. Дело в том, что каждое лето командированная своей организацией Майка проводила за границей. Во Франции, в Бельгии Майка с московскими коллегами ухаживали за местными инвалидами, в то же самое время французские и бельгийские филантропы приезжали опекать несчастных в Москву. Не знаю, в чём был смысл такого обмена, может, они передавали друг другу опыт. Макс же был уверен, что никакого опыта не было и в помине. Были собрания тайного международного общества.

– Скажи мне, – взывал Макс, – если бы ты захотел ухаживать за инвалидами, поехал бы ты во Францию?

– Франция отдельно, инвалиды отдельно, – отвечал я.

– А как ты думаешь, прожили бы французские инвалиды без Майечки? И почему надо ехать в Париж, а не в Иркутск, например?

Все эти подозрения Макса были связаны с одним обстоятельством. Майка была особенным между нами человеком – она была еврейкой. Я бы не останавливался подробно на

этом факте Майкиной биографии, если бы сама Майка не придавала ему чрезвычайного значения. Никогда – ни до, ни после своего знакомства с Майкой – я не встречал человека, млеющего от своей национальной принадлежности. Однажды кто-то назвал её «типичной еврейской девушкой». Видели бы вы, что случилось после этого с Майкой! Целую неделю она была сама не своя. Можно было подумать, что она влюбилась. На деле, так она переживала сопричастность своему народу. Внешность у Майки была действительно «типично еврейской»: большие, с чуть припухшими веками глаза цвета неспелого крыжовника, длинные прямые ресницы, аккуратный тоненький носик с закруглённым кончиком и готовыми вспорхнуть ноздрями, нежная оливковая кожа, пухлые, мягкие губы. Изящным телосложением Майка не отличалась, зато руки её были необыкновенно красивы. В одежде Майка держалась своего личного стиля, предпочитая всему другому широкие рубашки с длинными, до середины ладони рукавами, джинсы и тяжёлые тупоносые ботинки. При этом она не была неряшлива, напротив, всегда аккуратно подстрижена, с капелькой косметики на лице, с красиво отточенными ноготками. Этим стилем Майка выгодно отличалась от своих сокурсниц, в облике её было что-то необычное и даже независимое. Отличалась от прочих Майка и своим образованием. Я с удивлением узнал, что ещё школьницей она брала уроки латыни и французского, и это вдобавок к английской спецшколе. Оказалось также, что Майка непло-

хо рисует. Не могу сказать, что у неё был сильный талант, но она умела, например, в несколько штрихов составить милый шарж. А кроме того, писала акварелью довольно симпатичные осенние пейзажи. Говорила она тихим, нежным голосом, не терпела грубости и крику, вообще имела вид человека скромного до безволия и даже как будто обиженного. Однако никогда не сомневалась в себе. В вопросах же национальной веры и чести Майка подобна была Есфири. Стоило кому-нибудь в Майкином присутствии только лишь заикнуться о том, что еврейский народ ничем не лучше всех прочих народов, как тотчас человек этот попадал в разряд личных Майкиных врагов. Нет, она не подсылала к нему убийц и не пыталась подсыпать яду. Она просто переставала замечать его.

Рассказывали, что Майка встречалась с неким молодым человеком, тоже евреем. К молодцу этому Майка испытывала самые нежные чувства и даже собиралась связать с ним судьбу. Но однажды в одном разговоре, когда Майка вдруг под села на свой любимый конёк и принялась убеждать собрание в исключительной талантливости еврейского народа, её друг, точно стесняясь Майкиного рвения, рассмеялся нервно и заметил:

– Ладно, Май, отдохни... Вспомнишь еврея равнозначного Шекспиру или Пушкину, тогда продолжим...

Этот необдуманый поступок стоил молодому человеку слишком дорого. Майка отказалась от мечты связать свою

жизнь с его жизнью. Да и вообще любые отношения с тех пор оказались между ними невозможны.

Что-то похожее случилось и с Виталиком Экземпляровым, который как-то имел глупость сказать, что у евреев неопрятные жилища. Я лично был тому свидетелем. Майка внимательно оглядела Виталика, однако смолчала. Но с тех самых пор Виталик не достаивался иного общения с Майкой, как только сквозь зубы. Да и то в случаях крайней необходимости. Вдобавок с лёгкой Майкиной руки, а точнее – языка, он схлопотал прозвище «Антисемит».

Воспитанием и образованием Майки, насколько я понял из её рассказов, занимался отец, человек не без убеждений и даже пострадавший в семидесятые годы за хранение какой-то запрещённой литературы. Не то, чтобы его арестовывали, но, кажется, раз или два вызывали на Лубянку. Отец Майки был чистокровным евреем, мать же – еврейкой только наполовину. Зная об этом, мы с Максом любили иногда подтрунить над Майкой.

– Май, а ведь ты не еврейка, – говорил кто-нибудь из нас, как будто только что догадавшись.

– Почему? – пугалась Майка.

– Ведь у евреев национальность по матери? – спрашивал один из нас у другого.

– Ну конечно! Это всем известно...

– А если у Майки мама не еврейка, значит, и Майка не еврейка?

– Конечно. Какая она еврейка? Ты посмотри на неё!..

– И дети у Майки не будут евреями...

– Конечно, не будут. С чего бы?

– Май, ты не еврейка, ты русская!

Но для Майки это звучало приговором.

– Бабушка еврейка, значит, и мама еврейка. И я тоже...

В такие минуты она чуть не плакала. А мы с Максом только забавлялись её серьёзностью, бледностью и дрожащими губками.

– Вы не понимаете, – случалось, говорила нам Майка. – Вы не понимаете, что это значит, быть евреем... Когдаходишь в синагогу на Пасху, и кто-то вдруг крикнет: «Расступись, еврей!»... и вот расступились, опять сомкнулись... и все смеются, и все родные друг другу... Все евреи – это как одна семья...

Я, признаться, немного завидовал Майке. Ничего похожего я никогда не испытывал и понимал, что против Майки я – сирота казанская. Я пытался представить себе, что же такое нужно крикнуть в русской толпе, чтобы все вдруг заулыбались и ощутили себя одной семьёй. «Православные!» – вот всё, что приходило мне в голову. Но это казалось смешным, потому что было чем-то уж совсем историческим, можно даже сказать, из области преданий. «Вот странно! – думалось мне. – Евреи разбросаны по всему миру. Не имеют ни языка своего, ни культуры, а чувствуют себя одной семьёй. А мы сидим на этой земле уже тысячу лет – и что? Завидуем ев-

рейской спайке»...

– Быть евреем – это не то же самое, что быть русским или азербайджанцем, – объясняла Майка. – Еврей ощущает себя особенным... Он и есть другой...

Всё это она выговаривала необыкновенно серьёзно и тихо, опустив глаза, как если бы речь шла о чём-то сокровенном. И всё-таки в голосе её, в интонации чувствовалась решимость. К нам с Максом Майка благоволила. Я не знаю, что именно связывало тогда нас троих, таких разных, таких непохожих людей. Но все мы были искренно привязаны друг к другу, и я вспоминаю о нашей дружбе как о чём-то наиболее светлом и чистом в моей тогдашней жизни. Мы бывали вместе в «Иллюзионе» на Котельнической набережной, мы слонялись по Заяузыю и Китай-городу, но чаще всего встречи наши проходили в институтском буфете. Была у нас получасовая перемена в середине дня, когда мы сходились втроём за одним столиком, приносили булочки с чаем, рассаживались и не могли наговориться. Мне нравилась Майка своим обострённым чувством меры. Когда надо, она умела быть весёлой, но не развязной, строгой, но не грубой и не занудной. Она была искренней, но никогда не расстёгивалась, умела быть прямой и в то же время деликатной. Умела слушать и проникаться чужими чувствами, а при желании могла заставить слушать себя.

Была у Майки мечта, которую она доверяла нам с Максом. Когда она говорила о своей мечте, восторженные глаза

её обыкновенно увлажнялись.

– Будет такое время, – произносила она тихо и задумчиво, – когда все границы исчезнут. Мир станет как бы одной страной. Люди будут свободно ездить по всей планете, и никаких стран не будет. Все будут равны, исчезнут все предрассудки, люди будут свободными... Никто не будет привязан к одному месту, Земля станет для каждого Родиной... Все будут жить в городах, деревни исчезнут. Будет столько техники, что человеку больше не придётся возиться в земле... Религии все объединятся в одну, и люди все вместе станут молиться Богу... Исчезнут национальности, люди сами будут выбирать, где им жить... Не будет больше ни денег, ни документов. Исчезнут языки, все будут говорить по-английски, это будет удобнее и проще... Люди станут абсолютно свободными, ни к чему не привязанными. Они будут счастливы, потому что смогут любить друг друга – никто больше не помешает им в этом...

Нам с Максом нравилось слушать Майку. Я не очень-то верил, что мечта её осуществима, но мне нравилось представлять людей, о которых она рассказывала. Воображение рисовало мне каких-то кочевников, перемещающихся по планете туда-сюда: кто в поисках развлечений, кто в поисках работы и крова. Бесконечное, непрекращающееся курсирование людей-частиц, не имеющих ни языка своего, ни памяти, ни постоянного дома. Кто были, во что веровали, для чего воевали и зачем вообще жили их предки, людям-частицам

не нужно знать. Их забота – носиться в суматошном вихре за маленькими доступными радостями. Сытые, довольные, а главное одинаковые кружатся они, не зная ни греха, ни добродетели, ни низости, ни благородства. Мне всё представлялось какое-то семейство, все члены которого живут и работают в разных точках Земли. И только на выходные съезжаются все вместе, встречаясь... ну, хоть в бывшей Испании. Останавливаются в мотеле, наутро идут в Disney-land, потом обедают в MacDonald`s, потом идут в кинотеатр «Kodak», покупают поп-корн, после просмотра боевика возвращаются в мотель, а утром разъезжаются на работу: кто в бывшую Россию, кто в бывшую Францию, а кто-то, например, в бывшую Уганду. Было что-то страшное и даже отвратительное в этих картинках, но вместе что-то томящее и сосущее душу.

Но пока стада людей, разбредающие по планете, волновали моё воображение, Макса томили совсем иные фантазии. За каждым Майкиным словом Макс чувствовал близость тайного общества. Это и понятно. В то время сложилось такое множество всяческих обществ и тайн, что разобраться в них простому человеку было непросто. А Макс, по личностному устройству своему, непременно хотелось видеть и ощущать рядом с собой настоящее тайное общество, а заодно уж и стать его членом. Майка же, как нельзя лучше, подходила для того, чтобы представлять и олицетворять собою таковое общество. Национальность Майкина, издревле окружённая загадками и тайнами, трепетное Майки-

но отношение к этой своей национальности вынуждали Макса подозревать еврейский заговор или хотя бы масонскую ложу. В инвалидов Макс не верил ещё и потому, что не раз уже пытался набиться к Майке в сопровождающие, но всякий раз получал от ворот поворот. Майкины отказы только разогревали в нём любопытство и крепили уверенность в правильности разоблачительной догадки. Нечего и говорить, что Макс поставил непреложной своей целью сделаться завсегдаем собраний секретной организации. Нужно это, я уверен, было Максиму для того, чтобы при случае вальяжно и небрежно обронить, что он-де тусуется с масонами. Майка, в свою очередь, прекрасно видела это необоримое устремление и относилась к нему с нескрываемой насмешкой. Может быть, именно из-за насмешки, из-за желания помучить любопытного, подозрительного и тщеславного Макса, Майка отказывала ему в приглашении. И все попытки Макса сделаться масоном разбивались как морская вода о камни. Но однажды всё вдруг разрешилось.

Я запомнил: было 21 марта. Мы сидели с Максом в буфете, и Макс рассказывал мне о Виктории – ужасенной девице, с которой я и Макс только вчера впервые познакомились и которую Макс уже успел позвать к себе ночевать. Знакомство произошло на вечеринке, устроенной ни с того ни с

сего одной нашей однокурсницей. Было созвано множество разношёрстной публики. Виктория оказалась какой-то родственницей хозяйки дома, приехала она погостить в Москву из Сочи. Я подозреваю, что ради неё и собрали эту вечеринку или, как тогда у нас говорили, party. Из всего множества народа Виктория почему-то выбрала нас с Максом и, представившись, не отходила от нас ни на шаг. А с Максом так и вообще решила не расставаться. Макса женщины всегда обожали и, прежде всего, за то, что ни одну из них Макс не презирал и не отгалкивал. Даже со страшенькими и с глупенькими Макс находил общий язык. Да и много ли им нужно? Прояви только интерес, намекни ей, что она особенная, пусть даже в какой-то самой только малости – и готово дело, сама прибежит и всю себя предложит. Впрочем, это не только с женщинами, это со всеми так. Не бывает женских или мужских пороков. Люди все тщеславны. Наболтайте мужчине, что он герой, cowboy и playboy, и увидите, что за этим последует.

Прибывшаяся к нам Виктория, казалась мне похожей на лошадь. Я бы и говорить-то с ней серьёзно не стал. У неё было длинное, худое, желтоватое лицо, длинные, прямые жёлтые волосы, длинные жёлтые зубы и вся она была какая-то вытянутая и жёлтая. Когда она ходила, то стучала ногами, когда смеялась, я каждый раз вздрагивал. Я не знал, как отделаться от неё. Макс же, напротив, был с нею ласков, расспросил о семье и работе, а слушая её рассказ, проявил столько участия, что, казалось, решил её облагодетельствовать.

Узнав же, что она producer какого-то замороженного музыкального коллектива, обрадовался, как будто это обстоятельство могло повлиять на всю его дальнейшую жизнь. Через час разговора он окончательно привязал её к себе. А когда мы прощались в прихожей, он вдруг взял её за руку и, не смущаясь нелепостью вопроса, тихо и ласково спросил:

– Где ты сегодня ночуешь?

– Макс, Виктория не бездомная, – попробовал было вмешаться я, но не был услышан.

Она опустила глаза и скромно повела плечиком.

– Поехали ко мне, – просто-запросто предложил Макс.

Она посмотрела на него преданными и понимающими глазами и прошептала:

– Сейчас, соберусь только...

Через минуту она вышла с каким-то узелком. Макс помог ей одеться и увлёк в свой Земледельческий переулок.

Наутро он, необыкновенно довольный собой, рассказывал мне, что запер Викторию от бабушки у себя в комнате и велел ей сидеть тихо до его прихода. Он оставил ей еды и молока как кошке и умолил ничем не выдавать своего присутствия бабушке. Виктории эта игра понравилась и она пообещала Максиму, что почитает тихонько, пока он не приедет. Родственнице Виктории Макс объяснил, что Виктория пока поживёт у него. Родственница, как мне показалось, обрадовалась.

– Выгони ты её сегодня же, – убеждал я Максима. – Выгони,

пока они тебя не женили.

– Если бы я на всех женился, знаешь, что было бы? – Макс самодовольно усмехнулся.

– Ты не понимаешь, – настаивал я, – если замешались родственники, всё гораздо серьезнее.

– Ой, какие там ещё родственники? – сморщился Макс. – Ну что я, бабу, что ли, не смогу выставить?.. Ладно... шу-хер... Майка идёт... Потом договорим...

К нам действительно приближалась Майка. Подойдя, она постояла возле нашего столика, потом уселась и объявила, что болтать ей некогда, что она только на минутку и что имеет сообщить нам нечто чрезвычайно важное. Говоря всё это, она лукаво улыбалась и хитро поглядывала на Макса. Макс немедленно уловил эту хитринку, понял, что адресована она именно ему и, пытаясь до срока отгадать, в чём дело, занервничал, заёрзал на стуле. Заволновался и я. Майка, немедленно угадав наше нетерпение, рассмеялась.

– Да вы не бойтесь, – сказала она ласково, – я вас пригласить хочу. Завтра у нас праздник. Будет спектакль, премьера. Дети сами поставили. Я тоже там участвую. В общем, завтра в семь начало... Я буду вас ждать в 18.30 возле ДК МЭИ. Там рядом есть таксофон, я вас жду возле этого таксофона... Только не опаздывайте, ради Бога! В семь уже начало!.. Ну всё! – она поднялась с места. – Я побежала, до завтра... Завтра станешь масоном, Макс. Пока!..

И Майка исчезла.

– Yes! – прошипел Макс. – Ты слышал? Завтра вступаем в масонскую ложу!

– Пока что нас пригласили на детский праздник, – заметил я.

– Знаем мы эти... детские праздники, – Макс злорадно ухмыльнулся, – завтра ты сам всё увидишь... Посмотришь, кто был прав...

Макс едва дождался конца занятий. На лекциях он не записывал, а сидел с отсутствующим видом, подперев кулаком голову. То и дело он вздрагивал, как будто вспоминал о чём-то, и принимался разглядывать собственные часы. По нескольку секунд он не сводил глаз с циферблата, не понимая того, что видит – мечты не давали ему сосредоточиться. Наконец лекции окончились.

– Слушай, идём, – заговорщицки зашептал мне Макс, как только мы вышли из аудитории. – Идём скорей, пока не увязался никто. Здесь есть рюмочная... пойдём... надо ж тост за масонов...

И мы отправились в рюмочную поднимать тосты за масонов. Да и что ещё делать студентам в конце марта? Когда асфальт сухой, воздух тёплый, солнце слепящее – ну, не корпеть же, в самом деле, над книжками!

Макс вёл меня кривыми, короткими – настоящими московскими – улочками. Мы не спешили: брести по Москве в солнечный мартовский день – это уже удовольствие. В чём же оно, трудно сказать, но знакомый с этим удовольствием не

променяет его на ворох других. Всё вдруг меняется в Москве весной. Исчезает грязный снег, прохожие становятся добрей и улыбчивей, и точно вдруг сама старушка-Москва, прячущаяся обыкновенно за наглыми вывесками и глупыми фасадами, выглянет ненадолго, улыбнётся и шепнёт потихоньку: «Не умерла девица, но спит»...

Я вдруг остановился.

– Макс!

Макс дёрнул головой и, удивлённый, испуганный, уставился на меня.

– Викто-ория! – простонал я.

Наверное, с полминуты Макс молчал, напряжённо всматриваясь в меня. Наконец он всё понял.

– Ах, чёрт! – он наморщился и хлопнул себя по лбу. – Я и забыл про неё. Ну и что делать?

Он смотрел на меня с мольбой, точно от моего решения что-то зависело. Вдруг он оживился.

– Слушай! А может, ничего?..

– Что, ничего?

– Ну... пусть посидит... чего ей сделается? Еда у неё есть... молока я ей налил...

– Молока налил, Catsan не насыпал, – оборвал я Макса. – В туалет она куда пойдёт?

– Чёрт! Я и не думал об этом...

Мы поплелись к метро.

– Сейчас её выпустим, – рассуждал дорогой Макс, – и вер-

нёмся... к нашим баранам... В смысле, продолжим не начатое...

– Только... это... – подумав немного, прибавил он, – придётся с ней...

– Ну а куда я её дену? – завопил он в ответ на мой взгляд. – Что, свожу в туалет и обратно запру?... С бабушкой её не оставишь... Не выгонять же...

– Почему нет?

– Потому что... мы договорились... ну... одним словом... она у меня поживёт...

Часа через два мы трое – Виктория, Макс и я – уже изрядно разгорячённые сидели в малюсеньком баре на Тверской-Ямской улице. Макс знал множество питейных заведений подобного рода и всякий раз, в зависимости от своего настроения, выбирал, куда именно ему следует сегодня отправиться. При этом он не считался ни со временем, ни с расстоянием.

Бар, куда он привёл нас, состоял из одной-единственной комнатки. Вошедший тотчас упирался в несколько довольно крутых ступенек, поднявшись по которым, оказывался в узеньком проходце, годившемся для перемещения разве что цугом, да и то в одном направлении. Чтобы упереться в стойку, располагавшуюся у противоположной от входа стены, требовалось сделать пять или шесть шагов. Справа и слева от проходца помещались кабинки, по три с каждой стороны – круглые столики с похожими на подковы мягкими лав-

ками и высокие, тонкие перегородки. Когда мы вошли, два столика были заняты. Один посетитель – замечательного роста блондин лет двадцати семи – поразил меня сходством с президентом Ельциным.

– Похож? – шепнул Макс, проследив за моим взглядом. – Обрати внимание, даже причёска похожа... Вот я уверен, что он знает и поддерживает... Ты ещё походку не видел... А что?... В старости у человека готовый заработок... Голосу научится подражать и вперёд... к туристам...

– Ты что, его знаешь? – спросил я.

– По-моему, он здесь живёт. Когда бы я ни зашёл... короче, ни разу без него не обошлось...

– А может, это побочный сын? – очень громко и очень серьёзно спросила Виктория.

– Скорей всего, – сострил я.

Макс промолчал.

За стойкой суетилась молодая особа в цветастой жилетке. В руке она держала какую-то огромную тряпку, которой отирала всё, что только ей подвёртывалось. Всем своим видом особа показывала, что у неё страшно много работы и что занята она, как никто в Москве.

Макс завёл нас в угловую кабинку, принёс бутылку водки, тарелку солёных орехов и три невысоких стаканчика.

– Ну, – поднял он свой стакан, – за масонов и за вступление в масонскую ложу!

В ответ Виктория, оголив длинные зубы, зашлась резким,

хрипловатым смехом – настоящее ржание! – слова Макса показались ей забавной шуткой...

– А знаешь ли ты, кто такие масоны, Виктория? – спросил Макс после второго стакана.

– Нет, – ответила Виктория и зашлась своим ржанием.

– Ага-а!.. А знаешь ли ты, кто такие тампли... там-плиеры?.. еры... Ер-еры – упал дедушка с горы. Ер-ять – некому поднять. Ер-юс – я сам поднимусь...

– Ха-ха-ха!

– А кто такие... кто такой ... Жак де Моле? Ты знаешь?

– Нет! Ха-ха-ха!

– А что ты вообще знаешь об исторической науке! – присююкивал Макс, хватая двумя пальцами Викторию за подбородок.

Признаться, я немного побаивался пьяного Макса.

Алкоголь играл с ним одну и ту же злую шутку. Выпивая лишнего, Макс менялся до неузнаваемости и пугал окружающих своими выходками. Раз, например, Макс разогнал гостей в одном приличном доме. Гости затеяли танцы, и один только Макс угрюмо сидел в углу на диване и видимо скучал. Он бессмысленно скользил глазами по лицам и фигурам гостей, по предметам в комнате, как вдруг взгляд его остановился на чём-то и оживился. В шкафу, за стеклянной дверцей Макс заметил высокий красный баллон с крахмалом, каковой обычно используется хозяйками при глажении белья. Макс зашевелился: этот яркий баллон чрезвычайно заинте-

ресовал его. Но пройти через всю комнату на глазах у гостей, открыть стеклянные дверцы и вытащить баллон из шкафа Макс не мог себе позволить даже в экстагическом расположении. Тогда Макс пошёл на хитрость. Он вылез из своего угла и, как ни в чём ни бывало, присоединился к танцующим. Не удержавшись, кого-то ущипнул, кого-то погладил, потоптался на месте, покружился, а когда перестал уже обращать на себя внимание, подвинулся к шкафу. Так он дотанцевал до заветной стеклянной дверцы и, улучив момент, завладел красным баллоном. Сорвав с баллона крышку, Макс просиял. Потом оглядел комнату так, как будто получил над всеми неограниченную власть, и в следующую минуту, подавшись вперёд всем телом и раскинув руки, прыгнул на одной ножке в самую людскую гущу. Одновременно с прыжком он нажал на кнопку баллона, который держал перед собой в правой руке. На головы гостей опустилось крахмальное облако. Кто-то закашлялся. А Макс, которому удалось довольно далеко отпрыгнуть, развернулся и, не теряя времени, прыгнул в обратную сторону. Воздух в комнате загустел, и даже как будто испортилась видимость.

– Да отберите же у него баллон! – раздался среди всеобщего недоумения женский голос.

И тут же несколько человек бросились на Макса. Но Макс не собирался расставаться со своей добычей. Пытавшихся вырвать у него баллон, Макс окатил крахмалом и вынудил отступить. После чего продолжил свои экзерсисы. Кто-то

схватил его сзади за руки, но Макс успел выпустить струю крахмала и пронзительно завизжал. В комнате стало невозможно дышать, и гости, оставив Макса, отретировались в прихожую. Праздник был безнадежно испорчен, к тому же в комнате на столе остались кушанья, над которыми Макс распылял крахмал. Одним словом, встречу решено было перенести, и гости разъехались. А Макс, оставшись один в накрахмаленной комнате, водворил баллон на прежнее место, уселся в свой угол и задремал...

Когда мы уже после бара и разговоров о масонских ложах оказались в метро, Макса посетила новая смелая фантазия. Этого я и боялся. Мы сели на «Белорусской», сам-то я живу на «Соколе», Макс же с Викторией, чтобы попасть в Земледельческий переулок, надобился «Парк культуры», но, не слишком доверяя Виктории, я отправился провожать Макса.

Был тот час, когда метро обычно пустеет. Кроме нас в вагоне сидели ещё четверо. Макс, расположившийся на скамейке, был смирен и молчалив, правда, всё чему-то загадочно улыбался. Но на следующей станции, на «Краснопресненской», едва только поезд остановился и двери с грохотом разъехались в разные стороны, Макс, точно подброшенный огромной невидимой пружиной, вскочил вдруг с места и выбежал вон из вагона. Следом за ним подскочила Виктория, за ней – я. Мы нагнали Макса возле эскалатора. Макс был страшно доволен собой. Он молчал, но лицо его выражало чрезвычайное удовлетворение. Он покорно пошёл за

нами, хотя и не удостоил объяснениями, позволил усадить себя в вагон, устроился поудобнее и даже закрыл глаза. Как вдруг на следующей станции, на «Киевской», всё повторилось. Подскочил как на пружине Макс, подскочила Виктория, подскочил я. Но, выбежав в зал, я никого из них не увидел. Вагон наш пришёлся напротив перехода, и, должно быть, они умчались туда. Я прошелся взад-вперёд по залу, постоял немного и поехал домой.

А наутро выпал снег. То весеннее настроение, которое ещё вчера царило повсеместно в Москве, разом вдруг исчезло. Снова потянуло холодом, снова нахмурилось, снова захлопало под ногами. Один ветер, казалось, был рад. Привистывая, носился он по улицам и разбрасывал кругом себя хлопья мокрого, тяжёлого снега.

– Марток – надевай сто порток, – сказала мне мама и заставила надеть тёплый свитер.

Из дома я вышел в самом скверном расположении. Вчерашняя водка стучала у меня в висках, погода давила, внезапный откат к зиме злил чрезвычайно. Но главное, я чувствовал какой-то неизъяснимый и неуместный трепет. Я как будто ждал, что случится нечто важное, нечто такое, что опрокинет разом всю мою жизнь. Сначала я приписал это состояние спиртному, но потом решил, что причина всему

Макс со своими масонами. Ожидая от сегодняшнего вечера чего-то невероятного, он, по всей видимости, и мне сумел внушить ожидание и трепет. В то же самое время я понимал, что ожидать от детского праздника какого-то чудесного, фантастического влияния – по меньшей мере, глупо и что разочарование – неизбежный спутник подобного рода ожиданий. Понимание, однако, не прибавляло спокойствия. Мысленно я обрушился на Макса, вина которого усугубилась ещё и тем, что он не явился на лекции. Это обстоятельство окончательно взбудоражило меня. Я чувствовал себя оставленным, как будто вдруг выяснилось, что мне одному предстоит исполнить неприятное и совершенно непосильное дело. С каким-то особенным нервным нетерпением я целый день ждал появления Макса. На лекциях я то и дело косился на дверь, на переменах я озирался и вглядывался в лица. Сердце моё стучало, в животе я ощущал пустоту и дрожь. Когда ко мне обращались, я пугался. Когда о чём-нибудь спрашивали – отвечал невпопад, потому что, как ни напрягался, не мог понять, чего хотят от меня. Что-то похожее я испытывал обычно перед экзаменами. «Ну в чём дело? – думал я в сильном раздражении на самого себя. – Ну не придёт он – мне же лучше... Вечером дома посижу... В масонов я всё равно не верю, да и дела мне нет до них... Детский праздник мне тоже... даром не нужен... Короче, никаких причин тащиться сегодня вечером по мерзкой погоде куда-то в Лефортово, у меня нет... Так чего же ты весь дрожишь?!»

Я и вправду не мог справиться со своим волнением. Я убеждал себя, что волноваться мне нечего. Я уговаривал себя забыть неудачную выдумку Макса. Я внушал себе, что вечер проведу дома: пораньше лягу спать или почитаю «Собаку Баскервилей». Я всегда читаю «Собаку Баскервилей» после трудного дня – помогает расслабиться. Я даже пытался представить, как приеду домой, переоденусь, напьюсь чаю, потом устроюсь с книжкой у себя на диване, закутаюсь в плед... Но волнение, а может быть, неясное предчувствие, не оставляло меня.

Макс появился в Институте только к концу дня: я встретил его в гардеробе. Он с напускным безразличием рассказывал двум «лингвистам» о вчерашних своих подвигах. При этом, конечно, врал как мерин. Увидев меня, он заметно оживился, оборвал рассказ и поспешил распрощаться с аудиторией.

– Слушай, что это за водка вчера, а? – на ходу объявил он мне вместо приветствия.

– Пить надо меньше, Макс. Где ты был?

– Спроси лучше, где я не был, – самодовольно ухмыльнулся он.

– Ну и где же ты не был?

– В MacDonalds`е не был...

Как ни странно, я обрадовался Максy, на которого ещё недавно злился и которого обвинял в дурном на себя влиянии. И пока Макс рассказывал мне о своей головной бо-

ли и не прекращавшейся дурноте, о том, что у бабушки его «очень кстати» заболела какая-то, кажется, двоюродная сестра в Ступино, и бабушка на несколько дней отправилась в Ступино выхаживать эту свою одинокую родственницу, так что мучимому похмельным синдромом Макс пришлось «в рань глухую» провожать бабушку на Павелецкий вокзал, – пока Макс излагал мне в подробностях все утренние свои злоключения, я испытал что-то вроде прилива нежности к своему непутёвому другу. Макс был очень бледен, синеватые круги лежали у него под глазами, к тому же, я заметил, что он поминутно щурился и хмурил брови – действительно, головная боль не оставляла его.

– Не в том, конечно, смысле, что она кстати заболела, – довольный своим каламбуром, объяснял он мне, – не дай Бог... то есть дай ей Бог здоровья... тьфу, тьфу, тьфу, – он так энергично принялся отплёвываться, что мне пришлось сделать шаг в сторону. – А в смысле, бабушка кстати уехала... Как раз пока её нет, Виктория...

– Мы едем сегодня к масонам или нет? – оборвал я Макса. Несколько секунд он молчал, недоверчиво оглядывая меня.

– Конечно, – осторожно сказал он наконец, – а ты что... передумал?

– Нет, – вздохнул я.

– Тогда давай вот что... – он подтолкнул меня к вешалке, как бы приглашая одеваться, – давай сейчас по домам?

Так?.. А в 6.30 возле ДК МЭИ... ДК МЭИ – это у нас что? Это у нас «Авиамоторная», так?.. Слушай, давай так... давай я заезжаю за тобой в пять... Идёт?.. Полтора часа-то нам хватит...

Я не знаю, как в других городах, но в Москве расстояние принято измерять минутами и часами. И на ваш вопрос: «Как далеко?» вам непременно ответят: «Столько-то минут». Расчёт Макса был прост: от моего дома до метро – минут пятнадцать. Точнее – семь минут пешком, потом несколько минут ожидания на остановке, потом любым троллейбусом или автобусом одну остановку до круга, что возле метро, а это ещё минут пять, ну и пара минут, чтобы дойти до «Сокола». От «Сокола» до «Новокузнецкой» – минут двадцать, плюс минут пять переход и ещё минут десять до «Авиамоторной» – всего примерно час. От «Авиамоторной» до ДК МЭИ, что в Энергетическом проезде, – ещё минут пятнадцать-двадцать пешком.

Я намеренно останавливаю внимание читателя на этих мелких и совершенно неинтересных подробностях. Очень скоро всё разъяснится.

Полтора часа хватало нам с запасом. Однако Макс появился у меня только четверть шестого.

– Проспал, – объяснил он своё опоздание. – Вроде и не пили много, а башка трещит целый день... Водка, я думаю, была палёная... Тут ещё встать пришлось... ни свет ни заря...

– А где твоя... тётя лошадь? – спросил я, шнурюя ботинки.

– Это ты про Викторию?... Дома сидит... чего ей ещё делать-то?... Бабушки нет, она там хозяйничает... Блинов, говорит, нажарю...

– Ну-ну... – мне бы очень многое хотелось выразить Макс-у, но в тот момент напряжение моё достигло того предела, когда уже не просто говорить, но и думать о чём-то постороннем становится не под силу. Я весь дрожал, а ладони мои оставались влажными. Я думал только о том, чтобы поскорее всё разрешилось, чтобы приехать на место, а там уж хоть в масоны, хоть в зрители – всё едино – лишь бы определённость.

Макс тоже заметно волновался. Лицо его выражало озабоченность и вместе с тем растерянность. Я обратил внимание, что он принарядился, и это показалось мне смешным. Волосы он, не скупясь, набриолинил и, разделив пробором, аккуратно зачесал набок. При этом как-то по-особенному закрутил назад прядку надо лбом. Щёки и подбородок он тщательнейшим образом выбрил и обильно полил духами. Вместо обычной своей кожаной на меху куртки он нацепил длинное синее пальто из мягкой чуть ворсистой ткани, которое, кстати, очень шло к нему. Из-под пальто, я заметил, выглядывал синий шерстяной костюм. В то время в большой моде были так называемые солдатские ботинки – высокие, на толстой подошве, со шнуровкой. Так что не слишком богатые модники даже покупали у старух с Тишинки настоя-

щую солдатскую амуницию. Макс же носил какие-то дорожные боты, только имитирующие солдатские – из гладкой, мягкой кожи, на пластиковом полупрозрачном и ребристом ходу; кто-то пошутил, что «шнурки у Максима, наверное, шёлковые». Но, собираясь к масонам, Макс нашёл в себе силы расстаться на время с предметом своей гордости и обулся в изящнейшие штиблеты. «Откуда у него такие?» – подумалось мне. Действительно, я и не подозревал, что Макс хранит у себя дома щегольские туфли. Однако я решил не показывать Максиму, что фраппирован его костюмом, к тому же, повторяю, мне было тогда не до этого.

Что касается меня, я и не собирался наряжаться. Единственное, что я предпринял, это облачился во всё новое: новые голубые джинсы, новый белый свитер с высоким горлом. Я был вполне доволен собой.

Мы вышли от меня в пять двадцать пять. Всю дорогу до метро мы молчали и, занятые своими мыслями, ни разу даже не обратились друг к другу. Я не помню в точности, о чём думал тогда. Помню только, меня чрезвычайно занимало одно чувство. Я как будто упивался предвкушением грядущих событий, странным образом не придавая значения самим событиям. «Возможно, мы увидим сегодня новых и особенных людей, – думал я, – может быть, даже масонов. А может быть, мы и сами станем сегодня масонами...» Здесь сердце моё замирало, потом проваливалось куда-то, потом выныривало и с новой, удвоенной силой принималось стучать – похожее

ощущение бывает на «американских горках» и тому подобных аттракционах. И вот именно это ощущение и занимало меня. В масонов я никогда не верил, да и не в масонах тут было дело: я зачем-то пытался поддержать в себе то особенное, мучившее меня целый день, нервное возбуждение. А в какой-то момент, уже на улице, я вдруг ясно ощутил, что волнение оставило меня. Я был совершенно спокоен, однако, трепет, владевший мною весь день, я находил теперь приятным и уже сам не хотел расставаться с ним. Нарочно, точно поигрывая, я старался вновь вызвать его.

Из окна троллейбуса я наблюдал за машинами и изводил себя тем, что расшифровывал буквы на номерах – изнурительное, но неотвязчивое занятие. Я даже думаю, что это что-нибудь нервное. Такие навязчивые состояния порой просто одолевают меня. Помню, однажды я шёл следом за какой-то дамой, и вдруг мне пришло в голову, что вот если сейчас она повернёт куда-нибудь в сторону, и мы разойдёмся с ней, то ведь я никогда уже не узнаю, какого цвета у неё глаза. «Никогда! Никогда в жизни!» – вертелось у меня в голове. Это так напугало меня, что я прибавил шагу и, обогнав поселившую в меня ужас даму, заглянул ей в лицо.

Глаза у дамы оказались серыми. Выяснив это, я в ту же секунду успокоился и забыл о ней. Уже потом, вспоминая свой нелепый поступок, я смеялся над собой. «А что, если бы ты был близорук как Макс? Воображаю, что бы началось, когда, придвинувшись вплотную, ты стал бы разглядывать

цвет её глаз!»...

Вот проехала мимо «шестёрка» с номером Х153РС. «Хрен редьки слаще», – лезло мне в голову. Вот «Москвич» О250РТ. «Орден рыцарей-тамплиеров... Тьфу! Ерунда какая!» И снова это сладкое томление... «Мерседес» Н777ТВ. «Нет трусов вообще... Идиотизм!» «Волга» М395ВН. «Масоны – враги народа»...

Только в метро я очнулся от этого наваждения. Часы на платформе показывали пять сорок. Мы с Максом опаздывали. Мечты, занимавшие меня дорогой, испарились, и я снова заволновался и засуетился.

– Да мы никуда не успеем! – закричал я на Макса.

Макс поморщился.

– Поедем по-другому, – важно объявил он.

– По какому другому?

– Другой дорогой... И чего ты так долго копался?

– Я?! Копался?!

В это время подали поезд. Двери разверзлись, толпа подхватила нас, занесла в вагон и тот же час рассеялась, выстроившись цепочкой под поручнями и заняв собой все свободные ещё уголки. Мы устроились под схемой, изучением которой и занялся Макс. Он очень серьёзно оглядывал её, шевелил губами и даже потрогал.

– Нормально, – сказал он наконец.

– Что нормально?

– Успеем...

Я не стал выяснять, что он там придумал. Я решил не вмешиваться, переложив тем самым всю ответственность за возможное опоздание на Макса. Конечно, здесь было некоторое малодушие, но тогда я не думал об этом.

Спустя десять минут, на «Белорусской», мы вышли из вагона, и Макс устремился в переход. Когда же мы оказались на Кольцевой линии, часы на платформе показывали без пяти шесть. «Новослободская», «Проспект Мира», «Комсомольская», «Курская», «Таганская», снова переход – на часах двадцать минут седьмого. «Площадь Ильича», «Авиамоторная», длиннющий, наверное, самый длинный в Москве, эскалатор наверх.

– Уже половина седьмого, – рычит Макс.

Наконец мы выскакиваем из метро и, сломя головы, Макс впереди, я за ним, несёмся сначала по Авиамоторной, а затем сворачиваем в Красноказарменную.

– Где-то здесь, – кричит мне, задыхаясь, Макс, – справа... поворот...

Вдруг он останавливается, крутит головой и тяжело дышит. Я смотрю на него и не понимаю, в чём дело.

– Прошли... – с трудом выговаривает он.

Ах, прошли! Да, действительно, «прошли». Делать нечего, возвращаемся. Вот наконец и поворот. Только теперь уже слева. Макс забегает в переулок, я за ним. Так и есть. Энергетический проезд. Вот слева высокое старое грязно-жёлтое здание с колоннами и лепниной. Вот таксофон. Нет только

Майки. Времени – без четверти семь.

Как два дурака стояли мы возле таксофона и вертели головами. Макс всё никак не мог поверить тому, что Майка не дождалась нас. Он обошёл кругом Дворец Культуры, искал другой таксофон – заглянул под каждый куст.

– Ты что, думаешь, она прячется? – спросил я.

Как только я понял, что Майки, а заодно и масонов сегодня вечером нам уже не видать, мною овладело какое-то безразличие. Я даже зевнул несколько раз. Но Макс просто не мог смириться с тем, что не стал масоном.

– Ну к-как мы могли опоздать! – вскричал он, с силой пнув железную ногу таксофона. – Ну как!

На Макса жалко было смотреть. На лице его было прописано такое отчаяние, что капли от мокрого снега на щеках вполне сошли бы за слёзы. Новое пальто его всё измялось и было забрызгано грязью. То же и брюки. Мокрые волосы растрепались, прядка надо лбом обвисла и стала похожа на чёлку Гитлера. Штилеты, которые Макс впервые достал ради такого случая, совершенно потерялись под слоем буровой жижи.

– И зачем я только поехал к тебе! А? Надо было в центре где-нибудь встречаться... Зачем я попёрся на твой... «С-сокол»...

– Сам же и предложил. Сам же и опоздал... Чего теперь?

– Вот именно... Чего теперь?

– Да ничего... В другой раз поедешь...

– Другого раза не будет. Она больше не позовёт... обидится...

– Ну не позовёт и ладно... Не очень-то и хотелось... Сейчас-то чего? Не ночевать же здесь.

Мы поплелись обратно. На Красноказарменной, возле МЭИ, Макс остановился, похлопал себя по карманам, достал из пальто сигареты и закурил.

– Напиться, что ли? – брякнул он, с удовольствием выдыхая перед собой облако серого дыма.

– У тебя никак голова прошла?... А потом, Макс, тебя блины дома ждут...

Макс грустно усмехнулся в ответ.

– Хочешь, поедем ко мне на блины, – как-то вяло предложил он.

– Нет уж. Спасибо, дружище.

Он снова усмехнулся. Помолчали.

– Слушай, а чего это тебя понесло в объезд? – спросил я, вспомнив почему-то предложенную Максом «другую дорогу».

Макс скривился и пожал плечами.

«Если бы кто-нибудь наблюдал за нами со стороны, – думал я, когда мы спускались в метро, – то, наверное, решил, что мы приезжали сюда ради пробежки. А если бы за нами

наблюдал человек с фантазией, он выдумал бы историю о двух чудаках, которые каждый день, принарядившись, приезжают в Лефортово, чтобы промчаться на всех парах по улице Красноказарменной. После чего «усталые, но довольные» возвращаются домой».

Да, я был уверен, что мы возвращаемся домой. Но как я ошибся! Поистине, это был день сюрпризов.

Усевшись на свободное место в вагоне, Макс немедленно согнулся в три погибели: упёрся локтями в колени, уронил лицо на ладони и замер. Вид у него был невесёлый. Я просто смотреть спокойно не мог на эту скрюченную фигуру и, не выдержав, толкнул его в плечо.

– Макс! Ты что, с похорон едешь?.. Вот беда-то – на детский праздник не попали!..

Две девицы напротив с интересом наблюдали за нами, то и дело обмениваясь словечками и хихикая. Обе они были одеты во всё чёрное, шеи и руки их были обвешены какими-то железными побрякушками. Девицы смотрели на нас зазывно. Но нам было не до них.

– Какой мы шанс упустили! – не разгибаясь, Макс повернул ко мне голову. – Какой шанс!..

– Да какой шанс-то! – закричал я, но, опомнившись, понизил тон. – Какой шанс?.. Даже если там на самом деле были масоны, зачем они тебе? Ты что, всерьёз собираешься вступить в масонскую ложу? Зачем?.. Зачем тебе быть масоном?

Макс как-то странно, так что я слегка испугался, посмот-

рел на меня и спросил грустно:

– А чего ещё делать-то?

Признаться, я не нашёлся, что ответить. И только, чтобы не повисала пауза, проворчал себе под нос:

– Тебя туда всё равно не примут...

Поезд остановился. Девушки в чёрном встали и, стрельнув напоследок в нашу сторону глазами, вышли. Их места тотчас заняла сухонькая, седенькая, с замотанными в пучок тонюсенькими косицами суетливая старушонка, только что первой ворвавшаяся в вагон. Заняв собою одно место, она немедленно заняла другое сумкой. Это была довольно громоздкая хозяйственная кожаная кошёлка с двумя подковообразными ручками. Такая точно кошёлка из кожи болотного цвета была у моей бабушки. Бабушка ходила с ней по магазинам, а когда возвращалась, из сумки обычно выглядывали батон белого хлеба, горлышко стеклянной бутылки, покрытое зелёной фольгой, рыбий нос, букет зелёного лука и прочая снедь. Почему-то бабушка нипочём не хотела расстаться с этой кошёлкой. И сколько мы ни смеялись, сколько ни дарили ей новых, модных, как нам казалось, хозяйственных сумок, бабушка не сдавалась. И каждый раз кефир, батон и зелёный лук попадали к нам в дом исключительно в этой неуклюжей кошёлке, которую мой двоюродный брат прозвал «ридикюль Крупской». Глядя на старушку в метро, я вспомнил это прозвище. «Ридикюль Крупской», – подумал я. Мне стало смешно. Я повернулся к Максиму, чтобы показать

ему ридикуль Крупской, но Макс одним своим видом отбил у меня охоту веселиться. Разглядывая пассажиров, я как-то забыл про его «горе» и теперь, когда я снова наткнулся на эту бестолковую скорбь, я взъелся на Макса.

– У тебя, Макс, по-моему, крыша едет, – толкнул я его. – Ну ты ещё поплачь, поплачь!.. Тоже мне... вольный каменщик...

Макс молча выслушал и только тяжело вздохнул в ответ. Я тотчас пожалел, что сорвался на этом полоумном и даже несколько устыдился своих слов. И чтобы хоть как-то утешить Макса, я сказал уже примирительно:

– Ну чего ты, правда, Макс?.. Ну чего тебя, в пионеры, что ли, не приняли?.. Ну чего ты киснешь?.. Помнишь, ты говорил, что у тебя какая-то богемная тусовка есть?

– Меня туда тоже не принимают, – тихо сказал он, не отрывая глаз от ног *vis-a-vis*.

– Почему? – спросил я более из сострадания, чем из любопытства.

– Потому что я должен привести с собой интересного человека. Ну, не просто интересного, а какого-то выдающегося. Без этого туда не пустят... Я вот думал, кого бы...

– Ты чего? – я с ужасом уставился на Макса и даже чуть отодвинулся от него, потому что он вдруг перевёл глаза от ног старушки с ридикулем на меня. Я и не подозревал у Макса такого взгляда. Он смотрел на меня как на добычу. Обыкновенно так смотрят вампиры в кино на потенциаль-

ных жертв. В этом взгляде азарт, жестокость, сладострастие, жажда крови и предвкушение удовольствия переплетаются в один адский букет.

– Выйдем, – хрипло прошептал Макс.

– Никуда я с тобой не пойду. Ты чего?

– Выйдем... пожалуйста, – он схватил меня за локоть и потянул. Страшный взгляд потух. Теперь он смотрел на меня просительно, и я понемногу успокоился – передо мной был прежний Макс. Но на всякий случай я решил сопротивляться.

– Да зачем нам здесь выходить?

– Ну я тебя прошу... ну пожалуйста... Я тебе сейчас всё объясню... Это что у нас? «Марксистская»?.. Мы сейчас на «Таганку» перейдём, и я тебе всё объясню.

Поезд остановился. Макс схватил меня за рукав куртки и вытащил из вагона.

– Что опять? Куда ты меня тащишь? – сыпал я вопросы. – При чём тут «Таганка»? Почему ты здесь не можешь объяснить?

– Сейчас всё объясню, – шептал Макс, – сейчас... сейчас...

Наконец мы пришли. Макс остановился, похлопал ладонью белый мраморный пилон, и как-то недоверчиво заглядывая мне в глаза, спросил:

– Ты мне друг?

– Ну точно! Крыша съехала у хлопца!.. – я отвернулся от

него и сделал вид, что разглядываю ближайшее к нам голубое стрелчатое панно с барельефным профилем солдата в круглой шапке.

– Не, ну скажи! – настаивал Макс.

– Во-первых, об этом тебя надо спросить. А во-вторых, говори прямо, чего тебе надо.

Макс помолчал немного, точно собираясь с мыслями, погладил белый пилон и робко, заискивая, сказал:

– Пойдём со мной... на одну тусовку.

– На какую?

– На ту самую... на богемную.

– Ты хочешь, чтобы тебя не одного, а вместе со мной выгнали? – усмехнулся я.

– Нас не выгонят.

– Ты же говорил, что нужен выдающийся человек?

– Он у нас есть.

– Да-а?! И где же он? – я вытащил из карманов руки и стал крутить головой, изображая изо всех сил, что хочу отыскать выдающегося человека, только что бывшего здесь и вот потерявшегося где-то у меня под ногами.

– Это ты.

– Что-о-о?!!

Два этих коротких слова привели меня в бешенство. Клянусь, было мгновение, когда я хотел треснуть Макса по лбу. Но вместо этого я расхохотался. Проходившая мимо девочка-подросток шарахнулась от меня в сторону и потом долго

ещё оглядывалась.

– Ну и за кого же ты меня выдашь? – хохотал я. – За гиганта мысли? За отца русской демократии?

– Ну... вроде того, – Макс был спокоен: очевидно, эта бредовая идея уже успела прочно овладеть им.

– Что это значит: «вроде того»?

– С тебя же никто не станет спрашивать диплома или там... удостоверения. Так?

– Ну, допустим.

– Мы скажем, что ты – молодой и подающий надежды философ, автор новейшей философской... доктрины.

Помню, что в ту именно минуту я испытал на себе, что такое потерять дар речи.

– Как ты себе это представляешь? – спросил я, опомнившись. – Если спросят, что за доктрина такая, что я скажу?

– Это не важно...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.